

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Осень. Маленький железнодорожный полустанок. Последняя остановка. Впереди — фронт. Спешно выгружаемся из вагонов. Время — около полуночи. Кругом поле. Ночь. Хлещет дождь. Холодно. Промокли чуть не до костей. Хочется спать. В голове стоит какой-то шум. Под ногами слякоть. Чавкает размокшая от дождя глина. К подошвам сапог пристало чуть ли не по пуду грязи.

— Трогай!

Прямо из вагонов полк ее величества двинули на передовые позиции.

Нас ведет прапорщик Буренов. Бодро, чуть-чуть покачиваясь, идет на правом фланге и советует нам:

— Ребята! Главное — не трусить... Струсишь — пропадешь!

Немного ободряемся. Шагаем веселее. Но идти в «ногу» трудно. Все мы, словно волы, нагружены военной поклажей. И, кроме этого, мы везем за собою свои пулеметы, патронные ящики и коробки с пулеметными лентами.

Впереди грохочет фронт. Гремят орудийные залпы. Слышно, как рвутся снаряды. Где-то тата-

кают пулеметы. Резко раздаются винтовочные выстрелы. От взрывов содрогается воздух, гудит земля.

Но странно: я не чувствую страха. Его нет. Есть какая-то щемящая сердце тоска, есть тупое равнодушие, непонятное безразличие ко всему окружающему, но страха нет. Только почему-то холодеет в животе да на спине ползают мурашки.

— Ну, скоро, что ли, придем?

Вопрос остается без ответа. Все молчат. Только Бураков позевывает и охает:

— Спать больно охота...

— А мне — курить, — отзывается Шарагин. — Ваше благородие, позвольте закурить!

— Что-о? — останавливается Буренов. — Покурить? Я тебе покурю...

Шагаем дальше. Вышли на какое-то бугристое поле, поднялись на пригорок и... остановились, словно зачарованные, смотрим. Перед нами раскрылась потрясающая картина ночного фронта.

— Эх, вот она, война-то, какая...

Влево от нас полыхает зарево. Это горит подожженное снарядами пограничное местечко Ваганец. Оно далеко, но охваченные пламенем халупы видны ясно, как на экране. Стелется дым. Пляшет пламя. Летают огневые «галки». Пылают халупы, постройки, гумна. Над Ваганцем плывут тяжелые, багрово-зловещие облака...

— Эх ты! А это что такое?

Прямо перед нами тьму ночи разрезает луч прожектора. Чей: наш или немецкий — неизвестно. Он шарит по небу, освещая низкие и быстро бегущие облака; скользит вниз, выхватывая из тьмы квадраты взрытой и исполосованной окопавшей земли.

Снова тьма, дождь, слякоть. То здесь, то там падают снаряды. Снаряды взрываются, и от них во все стороны летят фонтаны огнебрызг и земли. В небо взвиваются ракеты. Они лопаются в вышине с сухим треском и медленно спускаются на землю. Гаснут. Тьма. Дождь. Ночь. Взрывы.

А мы все еще идем. Идем молча, тяжело дыша и крепко стиснув зубы.

— Скоро, что ли?

— Айда, айда! Еще немного — с полверсты.

Проходим так еще версты полторы-две.

Наконец впереди что-то чернеет. Слышится команда:

— Стой! Ну вот, ребята, мы и на месте!

— А где окопы-то?

— Окопы? А вот...

Перед нами какие-то узкие и глубокие канавы, на дне которых возятся люди. Это — окопы. В окопах — солдаты. Мы смотрим на них и нерешительно топчемся на месте. Андрюшка Шарагин заглядывает в окопы и шепчет:

— А-яй! Вот могила-то...

Могила! По телу пробежала дрожь. Хочется отшатнуться от этих ям, хочется закрыть глаза, не видеть их. Но это ведь не могилы еще, это только окопы...

— Ложись!

— Снаряд! Снаряд!

На землю шлепнулось что-то тяжелое. Послышалось шипенье...

Толчок, яркая вспышка огня, звон, грохот, взрыв... В лицо пахнуло чем-то горячим. Зазвенело в ушах. Какая-то неведомая сила приподняла меня от земли и отбросила в сторону.

«Смерть?!» — мелькнуло в голове. Нет. Я — жи-

вой. Встаю. Кругом темно. В голове шум. Почему-то тошнит.

— Ребята! Ребята!

— Эй! Михайлов! Ваня, здесь мы, здесь!

Иду на голос. Слышу стон.

— Кто тут?

По земле, встав на четвереньки, словно собака с перебитым задом, ползает человек. Он кружится на одном месте и гавкает:

— А-а-ав! Га-а-ав! А-а-ав...

— Что с тобой? Чего случилось?

Оказалось, солдата контузило.

— Окся! Оксинья... Чово, чово это со мной? А, батя...

Это была первая, виденная мною, жертва войны. И странно: ни я, ни другие не обратили на бедного солдата никакого внимания.

На рассвете мимо нас проходит саперная рота.

— Прощайте, братцы!

— Счастливого возвращения!

— Как бог!.. — кричит один бородатый сапер. — Как бог велит!

Саперы ушли. Но назад не вернулись. Во время работы вся рота была уничтожена пулеметным огнем неприятеля.

Утром нас подвинули вперед на место гибели саперов, и мне случайно пришлось увидеть труп бородатого сапера, который вчера на прощанье кричал нам! «Как бог!.. Как бог велит!»

Пуля попала саперу под ложечку. Он лежал, уткнувшись лицом в землю, держась скрюченными пальцами своих рук за ворот рубахи.

Я обыскал сапера. Документов у него не было. В карманах его шинели я нашел только кисет с табаком и хлебные крошки.

— Ага, годится...

Забирая табак, я заметил на груди у убитого небольшой образок Николая-чудотворца. На оборотной стороне «святителя» было написано:

«Иди, мой дорогой,
Крепко защищай святую веру
И царя-батюшку.
Защитник тебе угодник божий—Николай».

2

Стоим в десяти верстах от границы. Не сегодня-завтра нас бросят в бой. Это не тревожит нас. Ну что же, в бой, так в бой. А пока что нам не до боя.

Вчера мы разбили винный склад.

Мы столько запасли водки, что все наши вещи—мешки, патронташи, ранцы и карманы были набиты бутылками, полубутылками и шкаликами с водкой.

Андрюшка Шарагин играет на своей гармошке «Барыню». Бураков с Ахметом пляшут. Егор взмывает руками, кричит: «Эх! Эх!» и припевает:

Барыня ты моя.
Сударыня ты моя.

В разгар веселья к нам приехало начальство. Тоже пьяные. Здравуются.

— Приятного веселья, молодцы!

Мы чего-то орем в ответ, пытаемся встать в строй, но ничего у нас не выходит.

Какой-то офицер держит перед нами речь. Он туманно объясняет нам, чтобы мы были к чему-то готовы, что нас что-то ждет и мы должны кому-то и что-то показать.

— Пойдем, ребята! С музыкой! А впереди пойдет наш батюшка — отец Макарий, вот!

Отец Макарий, в шинели поверх рясы и в серой солдатской шапчонке, стоит тут же и заплетаящимся с похмелья языком говорит:

— Пойдем, братцы! Как с крестным ходом пойдем на врага. Я пойду впереди вас и святым распятием христовым покажу вам путь к победе. Смерти не бойтесь. Ибо умрет только тело, а душа ваша спасена будет. Незримо она поднимется на небеса, в обитель райскую, где уготовано для нее святое место.

С пьяных глаз мы задираем головы кверху и смотрим на небо, словно туда и на самом деле «по незримой лестнице» поднимаются в «обитель райскую» наши «грешные» души.

3

Фронт окутался густыми клубами порохового дыма. Над окопами огневая метель. Свистят, воют снаряды, цокают пули, грохочут взрывы, взлетает в воздух земля.

А мы сидим пьяные.

— Да что это такое? Чего начальство смотрит? А! Или немцу продались? Аль измена тут?

Мы пьяны, но наше возмущение справедливо: идет бой, а около нас ни начальства, ни командиров. Пообещав вчера вести нас в наступление с музыкой, сегодня командиры даже глаз своих не показали.

Андрюшка Шарагин сжимает кулаки и хрипит:

— Эх, вот сейчас бы под пьяную руку на него ударить!

— Яво бы, германца-то, маклашка хороший давать надоть,—грозится лежащий на земле Ахмет.— Давать бы яво маклашка здоровый, он бы не стал война-то делать.

Ахмет хочет подняться, пробует встать. Но водка оказывается сильнее Ахмета: она валит его, он карячится и ругает водку.

В это время в стороне слышалась команда:

— Цепь вперед!

Мы с винтовками наперевес выскакиваем из окопов.

— Ура!

— Ура! — подхватываем мы и бежим вперед.

Добежали до железной дороги, взобрались на насыпь. Выстрелы, залпы, огонь, пулеметная трескотня, взрывы гранат, свист пуль...

— Ложись! Ложись!

Рассыпались в цепь, залегли. Немцы открыли по нас пулеметный огонь. Рванулся воздух — точно ветер подул. Мы даже не поняли, что над нами пролетела смерть: оцепенели.

— Вперед! В атаку — марш-марш!

— А-а-а! Ур-ра-а-а!

И пьяные мы бросились в рукопашный бой.

...Вокруг меня бежали солдаты. Бежали с перекосенными от злобы лицами, пьяные; бежали с широко раскрытыми ртами и так кричали «ура», что этот крик заглушал и выстрелы, и залпы, и взрывы. От крика звенело в ушах, и вот-вот, казалось, лопнут перепонки, треснет голова.

Впереди — все ближе и ближе — немецкие окопы, укрепления и проволочные заграждения. Около них бой. Я вижу, как наши солдаты колют кого-то штыками, бьют прикладами, забрасывают не-

мецкие окопы гранатами, рвут, режут заграждения. «Ура! Ур-ра-аа!»

Взбегаем на бруствер. Край окопа. Хочу спрыгнуть вниз — и сердце останавливается на мгновение, по телу пробегает холодок, на лбу сразу выступает пот, тяжелеют ноги.

— Го-о-оп! — кричу я и спрыгиваю в окоп.

Быстро оглядываюсь. Ага! В окопе — немецкий солдат. Уткнувшись лицом в землю, он выставил вверх дуло своей винтовки и, не глядя, стреляет. Патронов у немца нет. Но он щелкает затвором винтовки, механически нажимает курок и «стреляет», очевидно, думая про себя: «Меня не видно, а я стреляю в упор».

Лица немца я не вижу. Старый он или молодой — все равно, безразлично. Перевертываю винтовку и бью прикладом по каске. Каска — плохая защита от приклада. Немец без звука валится на землю. Из расколотого черепа выползает густой мозг.

Вправо от меня — немецкое пулеметное гнездо. У пулемета трое. Я прикладываюсь, почти без прицела стреляю. У пулемета только двое. Один убит. Живые заметили меня. Но поздно: один приколот штыком, другого бью прикладом. Раздался какой-то глухой, противный хряск. На голове немца образовалась яма, которая постепенно залилась черной кровью. Немец медленно валится на бок и лежит, только пальцы его рук судорожно сжимаются да слегка подергивается левая нога.

Пулемет в моих руках. Быстро записываю номер, вытаскиваю пулемет на бруствер окопа и строчу. С фронта полетели дөпешн:

«Спешно. Срочно. 2-й Сибирский ее величества стрелковый полк перешел границу».

Прорвались в Германию. И что же? Земля такая же, как и наша. Такие же поля. Такое же небо, такие же и деревья и трава.

Прорывая фронт, начальство нашего полка не сообразило, что мы можем оторваться от своих.

Немцы, узнав, что фронт прорвал только один полк, двинули против нас пехотные части, артиллерию и кавалерийские эскадроны.

Мы были заперты в кольцо.

Трое суток бросались из стороны в сторону, пытаясь прорвать кольцо врага, пробиться назад, к своим.

Напрасно! Куда ни кинемся — немцы. Выхода не было.

Что делать?

В отчаянии пошли на штурмовой прорыв.

Двенадцать раз полк ходил в наступление; двенадцать раз бросались мы в штыковые атаки. Грудью хотели пробиться к границе. И ничего не вышло. Выдохлись, обессилели, измучились...

И не думали и не гадали, что вернемся на родину...

И вдруг где-то далеко-далеко послышалось:

— Ура! Сибирь идет!

В какие-нибудь секунды мы построились в трехугольную колонну и бросились вперед.

— Ур-ра-а-а!

Выручили нас, как мы узнали, только что прибывшие на фронт свежие сибирские войска.

...Подходим к нашим старым окопам. Здесь чернеет густая толпа солдат. Это — встречающие. Подходим ближе. По фронту длинными шпалерами стоят войска. Впереди — штаб полка, командиры,

армейское духовенство. На флангах — военный оркестр музыки играет марш «Под двуглавым орлом».

Шумно. Торжественно.

Нас приветствует корпусной командир — генерал Скрементов.

— Орлы! Поздравляю с победой!

— Ура! — раздается кругом. — Ура!

А мы, измученные, грязные, в рваных шинелях в худых сапогах, вместо строя валим кучей, ведем один другого под руки, тянем за рукава. Нам не до «ура». Мы голодны, хотим спать. Но нас гонят и гонят, точно сквозь строй, мимо начальства, мимо попов, солдат и генералов.

Полк наградили почетным штандартом — белым шелковым знаменем с изображением «нерукотворного» спаса и с надписью «С нами бог», а нас представили к серебряным «Егорьевским» крестам 4-й степени, выдали по шесть рублей наградных денег, новое обмундирование — и мы стали «Егорьевскими кавалерами».

5

«Я — Егорьевский кавалер!»

Эти слова поднимали Андрюшку Шарагина точно на крыльях. И Андрюшка ходить-то стал как-то боком, чтобы «Егорья» виднее было, и даже разговор переменял:

— Ха! Екары — мары... Да я теперь не больно что, а Егорьевский кавалер. В-во! — и обязательно тыкал себя пальцем в грудь, где болтался серебряный крестик.

Однажды, в шутку, Громанюк спросил Шарашина:

— Андрей, у тебя хвост не растет?

Шарагин не понял, удивился:

— Как, какой хвост?

— Обыкновенный. Я все жду, когда у тебя хвост вырастет. Зачем? Да как же: ходишь ты у нас — навалином. Только хвоста нет. А надо бы. Распустила бы ты его и шатался по окопам, приговаривая: «Вот смотрите, какой я герой! С хвостом...»

Шарагин обиделся:

— А что, неправда, что ли?

— Чего?

— Того-с!

Громанюк нахмурился и сразу стал серьезным.

— Дура с Волги! Право, дура. Ты не сердись, Андрей. Посмотришь на тебя, человек ты хороший, умный. А нацепили тебе какую-то побрякушку, ты и грудь колесом, шею дугой и брюхо ящиком. Эх, Андрей, Андрей...

Андрюшке стало стыдно, и он виновато замолчал.

6

Зима. Бураны. Стоим на берегах реки Бзура. В окопах. Жгем жарник. Греемся. А холодище — волчий! Стены окопов запушены инеем. Из наших ртов, словно из паровозов, валит пар и мелкими холодными пушинками оседает на бороды, усы и брови, делая нас какими-то седыми и сказочными стариками.

На фронте тихо. В окопах холодно. Мы продрогли до основания костей. И погреться негде. Уходим в блиндаж. Здесь как в погребе, только ветра нет. Ничего: садимся, подпирая спинами стены, и закуриваем. Хоть дымом погреться.

Ахмет у нас не курит. Он осматривает шинель, вздыхает и сокрушенно качает головой:

— Замерзать будем...

— Зачем?

— Э-э-э, зачем! Гляди: была шинель, стала не шинель.

Шинель у Ахмета действительно стала не шинель: она превратилась в сплошные дыры и лохмотья. Ахмет ощупывает эти лохмотья, продевает в дыры руки и тяжело вздыхает:

— Э-эх! Замерзать, ребята, будем...

Егор жалеет своего друга и советует ему:

— Ты бы починил ее, Ахмет, немножко.

— Ух, Ягор, Ягор! Чего его чинить-та? Один дырка зашиваешь, рядом — новая дыра ползет...

— Гнилье. Купец какой-нибудь сукно-то подсунул. И рад, сукин сын, копейку на солдатском горе заработать.

— Н-да, — говорит Шарагин, — обутка, вот тоже...

Андрюшка шевелит вылезающей из сапога, как из щучьей пасти, портянкой.

— Вот, видал-мииндал?

Наш разговор прерывает Громанюк. Он вошел в блиндаж, весь обледенелый и запущенный снегом, обтер с лица ледяные сосульки и, развязывая башлык, прохрипел:

— Беда, ребята! Брикман замерз...

— Брикман? Да что ты!

— Да. Сегодня ночью. На часах стояли. А он в голых сапогах, в шинелишке был.

— Ну?

— Ну и замерз. Бегал, бегал, сел в сугроб — и готов.

Выходим на волю. Морозно. Под ногами грязный, затоптанный сотнями солдатских сапог снег.

Окопы. А там, за окопами, раскинулась бесконечная ширь завьюженного фронта, лежат сугробы. И в этих сугробах замерз солдат нашей роты, наш Брикман.

Брикман. Маленький, щедушный и слабосильный Изик... Ему тяжелее всех доставалась фронтовая жизнь. За короткое время пребывания в окопах он схватил ревматизм, поэтому он не мог делать больших переходов: у него отнимались ноги. Также не мог таскать наш Изик полную стрелецкую выкладку (сорок два фунта). А после нескольких месяцев войны Брикман совершенно выбился из сил и часто, придя на привал, даже есть не мог, а прямо ложился куда-нибудь и засыпал.

Мы стоим над маленьким холмиком затоптанного, перемешанного с мерзлой землей снега. Это — могила Бриkmана. Стоим над прахом своего товарища и вспоминаем весь путь от далекого теперь Симбирска, дремлющего над Волгой, до этого холмика. Весь этот путь вместе с нами прошел маленький Израиль Брикман.

Мы как-то не замечали Бриkmана. И теперь нам становится стыдно.

Изик. Наш тихий и добрый товарищ... Ты никого не обидел, ты никому не сделал зла... Ты даже матерно ругаться не умел! За что же ты погиб, Израиль?

Окружаем могилу, молча снимаем шапки. Шаргин облизывает губы и тихо говорит:

— Вот и Бриkmана больше нет.

— Да! — поднял Громанюк голову. — Одного не стало. За кем теперь очередь, а?

Бураков осторожно кладет на могилу пихтовый венок и тихо крестится:

— Прощай, Изютка... Спи спокойно, друг...
Мы теребим в руках свои шапки и качаем головами:

— Прощай, дорогой товарищ...

— Вечная тебе память. Прощай...

И все. Уходим. Брикман остался лежать в сугробах.

7

У нас опять несчастье: три дня тому назад пропал Егор Бураков...

И пропал как-то странно. Ночью мы ходили отбивать немецкие обозы. Собралась ватага отчаянных ребят, пробрались в тыл неприятеля, забрали две подводы с продовольствием и двуколку с патронами.

Егор в этом налете был с нами и еще хвалился:

— Афтонобель бы у них забрать...

Но «афтонобель» забрать не пришлось.

Пришли в свои окопы. Впопыхах не заметили Егора. Думали, что он отстал, зашел куда-нибудь. Но проходит день, второй, Егора нет.

Приуныли. Жалко Егора. Так жалко, сказать нельзя — как.

— Да, пропал Ягор, — вздыхает Ахмет и жалобно просит нас: — ребята, айда в штаб сходим.

Мы знаем — итти в штаб бесполезно, но все-таки идем. Каково же было наше удивление, когда навстречу нам, нагруженный тремя винтовками, шел... Егор Бураков!

— Ягор! Ягор пришел! Откуда? Где был?

Егор подходит ближе. Вытирая пот, качает головой:

— Ой, ребята... Где я был-то...

— Да что случилось-то?

— Чего? Заплутался я. Да тама... Вы это убежали тогда, а я остался. А тут — ночь. Темно стало. А тут еще в сапог чего-то попало. Сел я в ямочке, переобулся. А когда встал, вас уже нет. А тут еще ночь. И темно. Итти не знаю куда. А итти надо. Пошел я, да совсем заплутался, пра. Гляжу — дороги даже нет, потом гляжу — окопы! Поглядел, поглядел — признал: не наши окопы. Бегу, а тут... человек лежит. А рядом еще двое. Стой, мол, Егор, не туда зашел... В бок было подался. А там слышу — разговор. Немцы калякают... Да. Храбрый, храбрый я — а испугался. И эти — трое — тут спят. «Ну, — думаю, — пропал!» Итти хочу — ноги не шагают. Тут стоять — немцы...

— Ну, и как же ты?

Егор храбрится и важно подмигивает:

— Как! Я ведь тоже не дурак! Ко мне тоже на драной козе не подъезжай. Подошел я к ним да потихоньку, полегоньку и забрал у них все оружие.

— А они?

— Спят.

— А ты?

— Я забрал у них оружия и думаю, чего делать: если разбудить их да в плен взять... Не осилю. Уйти, думаю, с ружьями-то? А ну они проснутся... Беда! Стою и думаю. А тут один из них завозился, забормотал...

— А ты?

— А меня, ребята, ровно бес какой подмывает. Бац его! Бац другого, третьего...

— Ну-у?

— Ей-богу!

Прошла, кажется, неделя. В окопы пришла почта. Нам писем не было. Но Андрюшка Шарагин получил — за два «огляда» газету.

— С куревом теперь, ребята!

Но прежде чем пустить газету на раскурку, Андрюшка вздумал прочитать «Вести с фронта».

Сначала Андрюшка бегал по газете глазами, потом чего-то нашел и закричал:

— Ребята! Смотрите, на, чего пишут!

— Чего, чего?

— Подвиг Егора Буракова!

— Да что ты?

— Ну-ка, читай!

Через неделю его представили к награде.

...Егора сделали «Егорьевским кавалером». Ахмет, еще не имевший ни одного «Егория», завидовал своему другу. Но самого Егора не радовало звание «кавалера». Долгое время он ходил напуганным и растерянным и все прикрывал своего «Егория» рукой или бортом шинели.

Потом Егор сообщил мне свой «секрет».

— Иван, а что, если он придет?

— Кто?

— Да тот, про кого в газете писали. Заберет, поди, «Егория»! А если не придет, «Егорий» мне достанется. Насовсем. Баба способе за него получит. А пра! Что ты! Шесть целковых и земли прирежут. Десятину на крест!

Так и не понял Бураков — за что его наградили серебряным крестом.

В окопах большое событие. На фронт приехал преосвященный Пантелеймон — епископ Двинской епархии и привез с собой «чудотворную икону двинской богородицы», поднятую из кафедрального собора города Двинска для освящения русских окопов, благословения солдат и поднятия в армии боевого духа и веры в победу.

В честь приезда преосвященного был устроен крестный ход. Целая рота солдат таскала по позиции многопудовую, в большом и тяжелом киоте «двинскую богородицу». Пели хоры. Играла музыка. Впереди шагала преосвященный Пантелеймон, крепкий, здоровый и красивый старик лет за шестьдесят, с густой черно-бархатной бородой, с кудрявыми полуседеыми волосами, в «золотой» ризе и с распятием в руках.

Он служил молебны, кадил ладаном, кропил солдат «святой» водой и раздавал на один взвод по одной молитве.

Молитва была отпечатана на плотной глянцевой бумаге, с ангелами по углам, с виньетками и цветами, с изображением «двинской богородицы» в облаках и с золотым заглавием: «Молитва воина, идущего в бой».

Не было на фронте снарядов; нехватало продовольствия, патронов, одежды; мерзли в снегах, мокли под дождем, голодали солдаты — армию снабжали молитвами.

Молитвы!

Сколько на фронте было молитв! И какие были молитвы!

На каждый день и час, для каждого солдат-

екого шага была приготовлена специальная молитва или тропарь какому-нибудь святому.

В те годы в деревнях и городах России корабейники продавали открытки.

...Поле сражения. Ночь. Около леса расположен русский лагерь. Стоят в пирамидах винтовки. Из окопов выглядывают жерла орудий. Чуть-чуть колышутся воткнутые в землю трехцветные знамена. Белеют палатки. На земле лежит барабан. На барабане — две сабли и солдатская фуражка. Рядом с барабаном, подложив под голову ранец, спит барабанщик.

Над полем сражения покой, тишина. Чувствуется, что только недавно окончен бой. Враг разбит. После победы солдаты отдыхают. В лагере тишина, покой, над лагерем небо. А на небе — буря, клубятся облака, сверкает молния, собирается гроза.

И видно: склоняются с неба знамена. Скачет конница, движется пехота, летят ангелы. А среди облаков шествует богородица! Идет она в сиянии небесного света, идет и благословляет спящий солдатский лагерь крестным знаменем.

Внизу открытки — подпись:

«Видение русскому воинству Ченстоховской богоматери».

Художник изобразил это «видение», как сон солдата. А я видел этот сон в действительности, наяву.

Потрясающая была картина!

...Ночь. Шумит лес. Накрапывает дождь. С запада надвигается гроза. Глухо грохочет гром. Блещут зигзаги молний. Небо черное, по нему плывут и клубятся зловеще тяжелые тучи.

Жутко в такую ночь на фронте. Чувствуешь

себя каким-то одиноким, беспомощным... Хочется куда-нибудь спрятаться, прижаться к кому-то большому и сильному, который бы мог заступиться, защитить, не дать в обиду.

Эта жуть усиливается еще тем, что на фронте стоит немая тишина. Она давит. Кажется, что мы находимся в глубокой черной пропасти, где нет ни воздуха, ни света, где царит вечная тьма и уныние.

На опушке леса горит костер. Вокруг огня сидит наша «компания». Ужинаем, пьем чай. Настроение у всех прескверное. Только вчера пришло извещение о сдаче немцам города Ченстохова. Говорили, что там был страшный бой, что мы потеряли более двух дивизий убитыми и ранеными, не считая пропавших без вести.

В разговорах, мы не заметили приближения грозы. Она разразилась нечаянно. Внезапно вспыхнувшая молния ослепила нас, заставила ведрогнуть. Вслед за молнией раздался такой страшный удар грома, что мы вскочили с земли, сгрудились в кучу и торопливо закрестились:

— Господи, помилуй...

И вдруг не то с неба на землю, не то с земли на небо по воздуху протянулась широкая полоса света.

— Ребята, чего это такое?

На небе буря, клубятся тучи, гремит гром, дождь, молния. И видно — туманно, туманно, по облакам, словно живая, идет богородица! Идет она в сиянии света, с распростертыми руками. Идет и благословляет наш лагерь, окопы, фронт.

Ударил дождь. Зашумел ветер. Богородица за-

дрожала и постепенно начала удаляться на запад, спустилась там на землю и пропала.

— Ловко! — говорит Громанюк. — Ловко сделано! А знаешь, что это? Световым фонарем показывали...

Так проходит ночь. А утром по всему фронту началась «коллективная» служба благодарственных молебнов. Вся «богова дивизия» была мобилизована на работу. Попы говорили о ночном «чуде» проповеди, предсказывали, что сама «ладычица» призывает и благословляет нас для победы над врагом.

Пользуясь этим, наше командование двинуло армию в наступление. По всему фронту завязались кровопролитные бои.

Особенно страшный бой был под Ченстоховом, где в плену у немцев находилась «ченстоховская богоматерь». Отбить, взять Ченстохов обратно не удалось. Богородица осталась в плену. И во имя ее «освобождения», во имя «чуда на полях сражений» легли тысячи русских солдат.

10

Ясным морозным утром наша рота переходит Вислу. Следом за нами идет весь полк. А кругом — и справа и слева, верст на шестьдесят вниз и вверх по течению Вислы идут новые роты, полки, батальоны, дивизии, корпуса, артиллерия, пехота, пулеметчики, саперы...

Идем в бой. Висла подо льдом. Ее широкие просторы скованы морозами. Кругом — сугробы. Снег такой чистый и свежий, что его даже жалко топтать.

Под Сочевкой гремят орудия. Дрожит под ногами лед. Шумит в полыньях вода. Страшно.

Нередка на Вислу долетают немецкие снаряды. Они раскалывают лед, поднимая вокруг фонтаны воды. Итти трудно. То тут, то там зияют проруби, полыньи и разводья. Мы осторожно обходим их, но путь нам преграждает глыба льда. Из глыбы торчат человечесьи ноги. Левая нога оторвана по колено, и из обрубка видна белая, точно мраморная кость. Правая нога — в дырявом сапоге, и из-под отставшей подметки с ощеренными, как щучья пасть, гвоздями виднеются грязные пальцы.

Самый труп, словно в стеклянном шкафу, лежит в середине глыбы. Он весь изуродован: голова разбита, язык прикушен, из половины рта торчат зубы, тускло смотрят сквозь льдину мертвые глаза...

Подходим к Сочевке. Она неузнаваема. Ни домов, ни построек. Даже целого деревца нет. Все разбито снарядами, исковеркано, сожрано огнем. Сочевка по несколько раз переходила из рук в руки наших и немецких войск. В результате — развалины. Деревушка сравнялась с землей. Тихо. Пустынно. Только кое-где под снегом шипят головешки пожарища да валяются трупы.

От Сочевки пошли дальше. Дошли до 86-й высоты. Здесь остановились. С Вислы подошли свежие войска. Началась перегруппировка сил: пехоту двинули вперед, артиллерия осталась под Сочевкой, а нас, пулеметчиков, бросили на знаменитую «Пулеметную горку».

«Пулеметная горка» — высокая крутая гора — господствовала над всем фронтом, была вооружена до отказа и представляла из себя неприступное укрепление, твердыню, о которую могли разбиться любые силы врага.

На рассвете у «Пулеметной горки» завязался бой. Немцы часов семь подряд громили наши позиции из тяжелых орудий. Наши войска сопротивлялись. Артиллеристы отвечали на каждый немецкий выстрел. Снаряды летели сотнями, тысячами.

Но к полудню наша артиллерия постепенно начала прекращать огонь и, наконец, наши батареи замолкли. В ход была пущена пехота.

Двинулась серошинельная. Утопая в сугробах, проваливаясь в ямы и воронки, с криками «ура», пехота пошла в атаку.

Немцы встретили ее пулеметным огнем и шрапнелью. Ответили на атаку контрнаступлением. Авангардные части войск сошлись врукопашную.

Отбросив и разбив 48-й пехотный полк, немцы продолжали идти в наступление. Не подозревая о нашей «горке», они подошли к ее подошве.

— Огонь!

— Есть огонь!

Дрогнула «Пулеметная горка» и четыреста пулеметов загрохотали своей смертоносной дробью. В какие-нибудь минуты мы обрушили на врага страшную свинцово-огненную метель, и от раскаленных пулеметов, от горячих патронных гильз снега растаяли на «Пулеметной горке» и мутными ручьями потекли по склонам.

Часа два-три без отдыха, без перерыва ревели наши пулеметы, и в вихрях снега, в пороховом дыму и в визге пуль мы не слышали, не видели, а только чувствовали, что у подошвы нашей «горки» творится что-то страшное.

Немецкие войска не выдержали, отступили. Но их командование, оценив положение нашей «горки», в какие-нибудь полчаса произвело перегруппировку сил и бросило на штурм «Пулеметной горки» всю свою технику и лучшие войска.

Напрасно! Наша «горка» была неприступна.

Немцы поняли это и любой ценой хотели отбить нашу твердыню. Но мы, окрыленные успехом и верой в победу, не допускали врага даже на выстрел.

Бой кипел двое суток. Двое суток штурмовали немцы «Пулеметную горку», и каждый раз мы разбивали и отбрасывали их с огромными потерями обратно.

12

На рассвете третьей штурмовой ночи на горизонте показалось звено неприятельских самолетов. Они разлетелись врассыпную, скользнули на крылья, спустились ниже, распластались над «Пулеметной горкой» и начали ее бомбить.

Мы встретили самолеты перекрестным огнем своих пулеметов. Подбили два аппарата. Остальные продолжали кружить над «горкой» и сбрасывали бомбы.

Еще самолет сбили. Осталось три. И их бы «поймали» наши пулеметчики, но в это время из штаба дивизии за подписью генерала Краузе, руководившего боем, пришел приказ:

— Снять позиции. Пулеметные части перебросить на Вислу.

Немцы продолжали наступать. Мы снова встретили их огнем пулеметов и опять бы отбили и отбросили их обратно, но в этот момент, в самый

разгар боя по пулеметным гнездам пробежал тревожный слух:

— Немцы в тылу!

Немцы воспользовались нашей заминкой, возобновили наступление и шли теперь на штурм «Пулеметной горки», поддерживаемые самолетами и двигая впереди себя подвижные укрепления — стальные щиты на полозьях, за которыми прятались стрелки.

Видя это, наш Буренов, без назначения, без приказа, взял на себя командование «Пулеметной горкой» и, пренебрегая опасностью быть убитым, не обращая внимания на снаряды и пули, бегал от пулемета к пулемету — ободрял:

— Держись! Ребята, держись! Отступление — смерть!

Но было поздно. Правый фланг нашей «горки» был уже занят немцами. Отбив часть наших пулеметов, они повернули их против нас и открыли огонь.

Минут через сорок «Пулеметная горка» была сдана. И мы уже не отступали, а просто бежали — без отдыха, без оглядки.

Бежали, а вслед нам гремели пулеметы.

Пулеметы, наши же пулеметы били нас! А артиллерия врага громила Вислу. Не по окопам, не по нашим укреплениям и войскам била немецкая артиллерия, а по Висле.

Они знали, что делали. Они отрезали нам путь отступления.

«Пулеметная горка» была сдана. И тут, поняв, что сражение проиграно, наше командование отдало новое распоряжение:

— Отбить у врага «Пулеметную горку»!

Это было безумие!

Кроме наших пулеметов, немцы подняли на «горку» легкую артиллерию и громили нашу армию из орудий и пулеметов. Огонь был страшный, уничтожающий...

Сотни, тысячи людей, с одними штыками наперевес бросались на штурм и, не дойдя даже до половины «горки», падали, срезанные пулями, разорванные снарядами.

Наконец на штурм «горки» бросили 12-ю пехотную дивизию.

— Ура! — взревела дивизия. — Ура-а-а! — и вся эта многотысячная толпа приговоренных к смерти людей пошла в рукопашную атаку.

— Ура! — снова прокатилось по дивизии. — Ура-а-а!

Прокатилось и стихло. И вдруг в этой секундной тишине кто-то засмеялся.

Все на мгновение смолкло, точно прислушивался к этому смеху. Но вот к смеющемуся присоединился еще один голос. Потом еще и еще... Волна хохота росла и росла, ширилась, разливалась, перекатывалась по рядам пехоты.

— Ха-ха-ха! Хо-х-ох-о! Ха-ха-хо-о-о...

И вся эта масса сумасшедших, наполовину безоружных людей с диким визгом, с хохотом, с воем побежала вперед, навстречу свинцовому вихрю, на приступ «Пулеметной горки».

И что же вы думаете? Отбили! «Пулеметная горка» была занята. Но она уже была не нужна нам. Когда солдаты 12-й дивизии взойшли на ее вершину и перекололи оставшихся в живых немецких солдат, то у нас уже не было ни фронта, ни войск... Были только мертвые и жалкие остатки рот, полков, дивизий, которые спасались бегством.

И «Пулеметная горка» опять была отдана немцам.

Наша «компания» вышла из боя живой. При первом отступлении с «Пулеметной горки» мы в общем хаосе потеряли свою роту.

Случайно в дороге встретили Буренова.

— Живой?

— А вы?

— Живые! Все живые!

— У-с, чорт! Судьба, ребята...

Кинулись к Висле. Перейти ее нельзя: льды взорваны снарядами. На льду — полыньи. И становится все больше и больше. И вот случилось неслыханное дело: зимой, в декабре, на Висле тронулись льды...

Вот недалеко от берега отстала большая льдина. Медленно поворачиваясь, она поплыла вниз по течению.

На самом краю льдины лежит убитый солдат с вывалившимися наружу кишками. Льдина плывет. По пути она сталкивается с другой и со страшным грохотом лезет на нее, встала на «дыбы». Труп солдата, только что бывший наполовину в воде, оказывается на гребне льдины, и его кишки, точно белье на веревке, раскачиваются по воздуху.

На другой льдине — раненый. Он пытается отползти от края льдины. Не может. Кричит только, страшно кричит:

— М-ма-ма! М-мамынька!

Льдина подходит к берегу, где лед остался еще неподвижным. Миг — треск, нечеловеческий вой, хряст льда и костей... И все. Только вода окрасилась кровью, да в стороны разошлись мелкие волны да круги.

Перст восемь пробежали вниз по течению реки. Наконец видим — твердый лед. Обрадовались, бежим к нему...

— Назад!

— У-с, чорт! Назад, ребята!

На берегу Вислы, недалеко от нас, немцы устанавливают пулеметы.

Повернули. Из леса навстречу нам выехала немецкая кавалерия.

— Гох! Гох! Го-о-ох!

Мы сбрасываем с себя шинели, кидаем шапки, винтовки и с размаха кидаемся в Вислу.

Проходим сажень, вторую, третью... Не тонем. Что такое? Ага! Под ногами какие-то бревна. Они под тяжестью наших тел погружаются в воду, вновь всплывают. Итти трудно. Ноги проваливаются. Мы чуть ли не по горло погружаемся в ледяную воду, карабкаемся, иногда плывем.

— Ребята! Ребята, глядите-ка — по мертвякам идем...

Верно; под ногами целая запруда из мертвых солдат. Много их. Они приплыли сюда и образовали у кромки неразбитого льда настоящий затоп.

Трупы! Ничего, бежим по трупам. Бежим, а вокруг нас рвутся снаряды, с жутким скрежетом лезут одна на другую льдины, кричат тонущие солдаты...

Солдаты! Сколько их...

Солдаты переплывали реку раздетые, разутые. Вот на огромной льдине плавает целый взвод вохотинцев.

Льдина несется бешено. Нырять, кружится... Вот она сталкивается на полном ходу с другой льдиной. Столкнулись. Толчок, грохот. Солдаты про-

буют оттолкнуться, пускают в ход саперные лопатки, винтовки.. Лыдина замедляет свой бег. На миг остановилась, ухнула и перевернулась, накрыв собой всю группу солдат. Солдаты вынырнули, пробуют уцепиться за лыдину, хотят снова взобраться на нее, но окоченевшие руки не держат тела, и солдаты один за другим идут на дно.

Прямо на нас несется небольшая лыдинка. Взрыв. Снаряд разбивает лыдину на куски и разбрасывает их вместе с солдатами в сторону.

Вокруг бушуют лыды, рвутся снаряды. По бурлящей реке плывут убитые, трупы лошадей, повозки, шапки, сани... А мы идем. Идем все вперед и вперед. Вот уже доходим до середины Вислы.

Перескакиваем с трупа на труп, с лыдины на лыдину. Впереди нас — Буренов. За ним — Шарагин. Я мельком гляжу на Буренова. Волосы у него замерзли, давно небритые усы висят как две сосульки, на мундире лед.

И все мы похожи на Буренова. Гимнастерки покрыты коркой льда, штаны — словно рыцарские серебряные панцири.

Но нам не холодно. Наоборот — жарко, пар идет от нас, не чувствуем ни боли, ни мороза.

— Вз-з-з-з!

Впереди упал снаряд. В воду. Шарахаемся в сторону. Куда? Слева лыды, справа вода, а прямо — беда. На минуту остановились.

Взрыв.

Закачались под ногами трупы, взлетели в воздух лыдины, мертвецы, вода — и, не успели мы глазом моргнуть, наш Буренов провалился в воду.

— Чорт! У-с, чорт! То-о-ну-у-у...

Первым рванулся Громанюк. За ним Шарагин.

Проваливаясь под лед и увязая в трупях, они схватили Буренова за шиворот и заорали:

— Держи, ребята! Руку! Скорее руку...

Мы подбежали на помощь. Оглядываемся, видим в глыбах льда какую-то лазейку. Бежим к ней и — о, радость! — под ногами твердый лед.

— Ура! Спасены!

Буренов открыл глаза. Видим — замерз, зубами анзгает, но улыбается:

— Ребята!

Буренов хочет сказать еще чего-то, но Шарагин орет на него:

— Ладно ты, молчи! Замерзнешь, чорт...

— Замерзнем...

— Э! Ни хрена! Айда, бегом! Бего-о-ом!

Побежали, но силы окончательно оставили нас. Замерзшие сапоги и штаны не сгибаются. Ноги даже от земли не отдерешь, точно на них повешены пудовые гири.

Но мы бежим. Все тише и тише. Спотыкаемся, надаем. А берег близко. Вот-вот, еще несколько десятков шагов и... Но тут Буренов не выдерживает. Остановился, упал.

— Силы нет! Бегите... Бегите, ребята... Все равно. Пусть. Судьба, видно. Прощайте...

— Бери его! — кричит Шарагин. — Бери, ребята!

Быстро подхватываем Буренова на руки, бежим дальше. Выбежали на берег, положили Буренова на кучей, как поленья, валимся на снег и лежим так, не в силах даже пошевелить пальцем.

Отдышавшись немного, я захотел пить. Ползком добрался к Висле, нагнулся к полынье и зачерпнул пригоршню воды. Но пить не стал. В моих ладонях была не вода — кровь, наша простая солдатская кровь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Вчера был бой. Сегодня мы отдыхаем. Сидим в блиндаже. Ночь. Над окопами бушевала метель — свинцовая и снеговая, а у нас было тихо, спокойно, даже уютно: на полу солома, на стене коптилка, сделанная из банки из-под ружейного масла.

Я лежу на ворохе мятой ржаной соломы. Ярко пылают сосновые дрова в маленькой железной печке. Рядом со мной — Ахмет. В углу спит Максим Громанюк. Шарагин куда-то ушел. Остальные ребята играют с солдатами соседних блиндажей в щелчки.

Затягиваясь табачным дымом, я прислушиваюсь к разговорам, смотрю на играющих.

Напротив меня — Латыш, самый азартный игрок. Он покраснел, разгорелся, сидит весь в напряжении, даже жилы на лбу набухли веревками.

Разговор у играющих редкий, отрывистый:

— Очко!

— Лоб!

— Давай, давай!

Латыш выигрывает, бьет щелчки. Все хохочут и добродушно, без злобы, матерятся и напевают:

Под ракитою зеленой
Солдат раненый лежит...

Напротив Латыша, спиной ко мне, сидит Бураков. Ему сегодня не везет: почти каждый кон ему бьют лоб, и Егор от досады и напряжения играет с таким страдальческим выражением лица, что кажется, будто он берет карты не по собственной охоте, а по приговору военно-полевого суда.

В блиндаже полутемно. Коптилка скупо освещает стены, потолок, на которых кривляются громадные тени голов, топырятся руки, качаются туловища играющих... Слышно тихое пение.

На груди, штыком пронзенной,
Крест серебряный блестит.

В блиндаже тихо. Только скупо шлепаются карты да изредка — словно в пустую бочку — падают слова:

— Есть!

— Очко!

— Лоб, солдат!

Колода карт перешла к Буракову. Егор взял ее в руки, помусолил пальцы и торжественно заявил:

— Банкую!

— Крой, Егор Егорьевский!

Сдал. Когда очередь дошла до Латыша, он посмотрел из-под руки на свою карту и облизнулся:

— Сколько?

— Пол-ста.

— Давай на все!

Бураков дал карту. Латыш ловко подкинул ее вверх, подставил на левую вторую, сложил их тыловой стороной вместе и раскрыл.

- Очко?
- Без кисточки...
- Ну, бей, чортушка.

Закрыв глаза и заранее сморщившись, как сушонный гриб, Бураков подставил лоб. Латыш похлопнул ноготь среднего пальца, нацелился и, жуя в такт ударов губами, начал бить.

Бил больно, точно молотками. На третьем десятке ударов Бураков не выдержал и взмолился:

- Чорт! Бей чаще...

Латыш только улыбнулся и продолжал бить. А остальные с восхищением детей смотрели на эту расправу и вставляли свои замечания.

Ударив пятьдесят раз, Латыш облегченно вздохнул:

- Еще надо?

— Ну ты к чорту! — отдулся Бураков. — И так весь терпеж вышел. Да-а... (Егор чешет лоб, на котором вздулась шишка.) Эдак, пожалуй, бить, так рога, как у барана, вырастут...

Бураков бросил карты и отполз от играющих к нам. Тычась папироской, чтобы прикурить, спрашивает:

- Живой, Ахмет?

Лицо Ахмета от морщинок разгладилось, и улыбку добрую разъехалось:

- Живой, Егор, мал-мал...

- Ну, и слава богу.

Бураков вынул кисет и, свертывая новую папироску, неожиданно вздохнул:

— И зачем, за что, скажи ты мне, Ахмет, гибнет столько народу?

Ахмет крутит головой:

— Э-э, Ягор, Ягор, откуда татарину знать, за что?

— И никто не знает.

— Знают!

Все оглянулись на Громанюка, который проснулся и, облокотясь на руку, полулежал, прислушиваясь к разговорам.

— Знают, ребята, за что воюют, да нам не говорят...

— А что?

— Да ничего! А им, вы думаете, говорят, немцам-то? Сговориться бы, что ли, с ними: давайте, мол, бросим эту затею, войну-то, да домой!

Громанюк взъерошил волосы:

— От нас это зависит...

Громанюк закурил, присел. Обдавая Егора дымом папироски, прищурился:

— Пойми, Егор! Армия — это мы, нас гонят, как баранов, на бойню. А во имя чего? В руках у нас оружие. Не лучше ли, чем гнить в окопах да бить немецких рабочих и крестьян, не лучше ли повернуть это оружие на наших общих врагов — царя и помещиков?

Мы смотрим на Громанюка и, затаив дыхание, слушаем его речь и переглядываемся.

Тихо-тихо. И неожиданно с «высоты небес» нас «испроверяет» голос Буракова:

— Эх, Максим, Максим! Сладку речь ты поешь, голова садовая, да горько ее слушать-то!

В блиндаж входят солдаты соседних взводов. Громанюк подмигивает нам и ловко переводит разговор на другое: начинает рассказывать матерную сказку — «Про попа, попадью и солдата».

Солдаты присаживаются в наш «кружок», закуривают, слушают и от души хохочут:

— Ай, да солдат! Вот он как батюшку-то обделал!

Мы тоже смеемся. А Громанюк улыбается и подмигивает:

— Солдаты народ хитрый...

Мы понимаем Громанюка. Молчим.

В разгар беседы с шумом отворилась дверь и на пороге, впуская в блиндаж, целое облако морозного воздуха, появился занесенный снегом Шарагин.

— Что за шум, а драки нет?

Шарагин шагнул вперед. Широко расставив ноги, встал среди блиндажа — руки в карманы, шапку на затылок. Постоял так, посмотрел на нас и плюнул:

— Ребятухи! Три дня до перемирия осталось...

Перемирие! Позабыты были и карты, и щелчки, и все на свете. Все вскочили, сгрудились вокруг Шарагина, затормошили его, забросали вопросами. А Шарагин, чувствуя себя героем блиндажа, с небрежным достоинством свертывал папироску — и скромно:

— Что говорить-то! Тиш-ше! Прихожу я в штаб, а там — чорт ногу изломал!

— Ногу?

— Да. Чего, мол, спрашиваю...

— А они?

— А дежурный по штабу — друг он мне — говорит: «Знаешь, Шарагин, ведь перемирие с немцем для рождества христового заключили!»

— Врешь, Андрюшка!

— Ну, вру! Делегатов, говорит, посылали-и...

— Чего?

— Фу, чорт веревкин! Слушай ухом — не брюхом. Тебе по-русскому говорят: наши, из штаба, были у немцев и условие о перемирии заключили.

Время было за полночь. Но мы не спали. Сон не шел.

Над окопами шумела пурга.

2

Утро. Нас перебросили на передовые позиции, поставили чинить укрепления, рыть окопы, исправлять разрушенные блиндажи и траншеи.

Пройдя около двух-трех верст узким ходом сообщения, наша «компания» вышла на Вислу, по правому берегу которой раскинулся фронт, и натолкнулась на командира роты Годовицына, распоряжавшегося работами.

Годовицын вынул из полевой сумки какую-то бумажку и, подавая ее мне и Егору, показал рукой вдаль.

— Вон, ребята, видите — лесок. Там стоят резервы нашего батальона. Найдите там Семенова, отдайте ему эту штуку — и обратно.

Отдав распоряжение, Годовицын щелкнул шпорами, повернулся к нам спиной и ушел. А мы, поправив за спинами свои ранцы, перекинули через плечи винтовки и пошли.

Лес был не очень далеко — верстах в четырех от наших окопов. Пройдя благополучно открытое место по берегу реки, мы добрались до леса, нашли там Семенова, отдали ему бумажку и пошли обратно.

В лесу было тихо. Угрюмо шумели деревья. Трещали от мороза стволы и сучья. Под ногами приятно хрустел снег, и не будь на нас шинелей и винтовок, мы — ни дать, ни взять — были бы похожи на простых деревенских мужичков, пришедших в лес за дровами.

Но мы были солдатами, находились на фронте, начальство послало нас с поручением, и мы должны были вернуться в окопы и доложить, что поручение выполнено и во время ходьбы с нами никаких происшествий не произошло.

Идем. Кругом — фронт. Недалеко неприятель. Идем тихо. Для осторожности оглядываемся по сторонам. Винтовки — на руке. Разговариваем вполголоса.

— Давай, Иван, закурим.

Достали кисеты, закурили.

— Ах, хорошо здесь! — запрокинув кверху голову, заметил Егор. — Лесу-то, а?

Внезапно он умолк и прислушался.

— Идет кто-то!

В стороне от нас что-то затрещало. Мы вздрогнули. Проворно вскочили, взяли в руки винтовки и, проверив затворы, спрятались за упавшим деревом.

Прошла минута. Шорох ближе. Смотрим — из-за кустов вышел немецкий солдат.

— Стой! Кто идет?

Защелкав затворами, мы выскочили из своей засады и побежали за немцем.

— Стой! Стреляю...

Немец остановился. Подняв руки, забормотал:

— Ирэ, руссэн, ирэ!¹

Подошли ближе. Немец, утопая в снегу, встал на колени и все держал свои руки кверху. Мы подошли еще ближе. Немца забила дрожь. Видно было, как у него дрожало тело, зубы выстукивали мелкую дробь.

Немец молодой — лет двадцати шести-семи. Он

¹ Ваш, русский, ваш!

покорно стоял на коленях, и его смуглое лицо, чуть-чуть заросшее черной щетиной, было бледно, а в больших серых глазах стояли слезы.

— Стоп! — скомандовал Егор, наставляя на него свою винтовку.

Немец испугался еще больше. Озираясь и отворачиваясь от винтовки, он шептал:

— Ирэ, руссэн! Ирэ, ирэ...

Бураков отдал мне свою винтовку и, поставив немца на ноги, стал обыскивать. Выворачивая карманы, из которых на снег посыпались какие-то крошки, он засмеялся:

— Ни черта нет! Трубка только одна...

Немец не сопротивлялся. Но когда увидел у Егора свою трубку, встрепнулся и протянул к Андрею руки:

— Руссэн!

— Ты чего? — обернулся Егор и вдруг закричал: — Ванька, гляди-ка! Девка! Вот, в трубке!

Бураков подал мне трубку. И что же? В самую головку ее, куда насыпают табак, был искусно врезан миниатюрный портрет девушки.

Молодая девушка, красивая. На висках у нее завитушки; на лоб спущена прядь белокурых волос; небольшой носик вздернут «кнопочкой» вверх; маленький улыбающийся ротик, пухлые губы и глаза — большие-большие глаза. И вся она — полнолицая, пухлощекая, с улыбкой на губах и ясным взором своих глаз смотрела на меня с трубки, словно живая.

— Ха! — любовался Егор. — А хорошая краля! Пра! Кто это? — обратился он к немцу. — Баба, невеста?

Немец чего-то заговорил по-своему и протянул к Буракову руки, умоляя отдать трубку.

— Эх, ты — надо? Ну, так и быть: на, камрад твою мамзелю.

Виновато улыбаясь, Егор отдал немцу трубку и похлопал его по плечу.

— На, бери.

Немец взял трубку и с благодарностью пожимая Буракову руку.

— Ты чего это?

Немец — ничего. Улыбнулся, смотрит на нас. Мы на него смотрим.

Постояли так, помолчали. Что делать дальше — не знаем.

— Ну, пошли, Ванюша?

— А этот...

— Кто, немец-то? Ха, чудак! В плен его надо забрать. Пра, в плен. А то как же! Чудак-рыбак, да нешто не знаешь: «Егория» за него получим. Может, он начальник, генерал какой-нибудь Вильгельмов.

Не дав мне сказать ни слова, Егор заторопился и махнул немцу рукой.

— Эй, ты, как тебя там, по-немецки-то... Айда! Слышь, айда — в плен. Плен, плен! Русский плен! Ту-у-да!

Он тряс головой, махал руками, показывая немцу, куда и как идти в плен. Немец не понимал. Он стоял, перебирая рукой пуговицы на своей шинели, и смотрел то на меня, то на Буракова.

— Ну, понял, что ли? — допытывался Егор. — Вот ведь бестолочь какая! Тебе, кажется, русским языком говорят: «Плен!» Понял?

Понял немец. Он тяжело вздохнул, опустил вниз свою голову и пошел. Мы взяли наперевес свои винтовки, встали по обе стороны немца и повели своего врага в плен.

Вышли на опушку леса. На берегах Вислы развалился русско-германский фронт: на левом берегу — немецкие окопы, на правом — наши, и передовые линии, авангардные силы двух армий стояли близко-близко друг от друга — их отделяла только одна, покрытая льдом и полыньями от разорвавшихся здесь снарядов, Висла.

Выйдя на опушку леса, Егор, отдуваясь, стукнул прикладом:

— Закуривай, ребята!

Сели. Немец в середине, мы по бокам. Вынули кисеты, начали вертеть «собачьи ноги». Смотрим — немец тоже трубку из кармана вытаскивает. Вынул, постучал ее о каблук сапога, снял варежку.

— Руссэн!

— Что? Курить хочешь?

Немец улыбнулся, кивнул головой на кисет и что-то опять проговорил по-своему.

— Ха-а? Ну, на, закуривай.

Бураков отдал кисет немцу. Тот неспеша набил свою трубку нашей махоркой, прикурил и, затягиваясь дымом, закашлялся.

Егор засмеялся:

— Что, не терпишь русского духу?

Немец улыбнулся и закивал головой:

— Гут, руссэн, гут...

— Гут? То-то, камрад ты этакий!

И вот мы — вчерашние враги — сегодня встретились в лесу, напугали двое одного, взяли в плен такого же, как и мы, только немецкого солдата — и сейчас сидим на берегу Вислы и мирно, как будто для нас не было ни фронта, ни войны, курим из одного кисета махорку.

Странно. Много странного бывает на свете...

Тыча в снег окурок, Бураков шмыгнул ногом.

— Ну, итти пора.

— Постой, Егор. Неладно, брат, мы с тобой сделали...

— Чего?

— Да немец-то, вот...

— А что?

— Зачем мы его ведем?

— Как это — зачем? Вот чудило! В плен! А пра. Знаешь, нам за него «Егория» серебряного на грудь дадут.

— Да я не про «Егория». Я говорю: немца-то мы напрасно взяли...

— Как — напрасно?

— Ну, ладно. Ну, допустим. Ну, в плен. Пусть будет так. Согласен. А за что?

— Как это за что? — испугался Егор. — Ты что, Ванька! Мы с тобой присягу принимали и, как хочешь, враг он нам, неприятель.

— Ну и сказанул... Да какой он тебе враг, когда ты его в лесу, как зайца, сцапал?

— Зайца? Ха-ха-ха! А и правда ведь — как зайца. Бух! Он — в сугроб и лапы кверху. «Руссия, руссия...»

Егор засмеялся и похлопал немца по плечу.

— Слышь, камрад, как он тебя хвалит. Как зайца, говорит, поймали мы тебя! Слышишь?

Немец улыбнулся и уже без страха глядел на Буракова.

— А и правда! — продолжал Бураков. — Только не пойму, Иван, к чему это ты клонишь?

— Понять пора, Егор. Не маленький...

— А чорт его знает, как тут понимать-то, — сконфузился Бураков и задумался, повернулся и

немцу и положил ему на плечо руку. — Камрад, ты кто будешь — рабочий, мужик или кто?

И Егор начал проделывать руками какие-то только ему понятные штуки, показывал, как работает кузнец, как косит крестьянин, как ходит барин, и все допытывался у немца — кто он.

Немец, видимо, понял. Он нарисовал на снегу автомобиль и показывал, как он управлял рулем: давал ртом сигналы, размахивая руками...

— А-а! Шофер, значит...

— Давай, Егор, пустим его...

Егор задумался. Стоял, переминаясь с ноги на ногу. Вздыхал.

Потом подошел к немцу:

— Эй, ты... Слышь, как тебя... Камрад, иди сюда. Знаешь что? Айда, брат, дуй домой — во все лопатки!

Комкая слова, Егор старался объяснить немцу, что мы не возьмем его в плен, и, видя, что тот не понимает, плюнул:

— Ну что, не понимаешь, что ли! Тебе русским языком толмачу.

Немец не понимал. Наконец, когда Егор «вражумил» его больше маханьем рук, чем словами, он понял.

Понял, и глаза его заблестели радостью: той радостью, которую нельзя передать словами. Он порывисто вскочил с земли, затоптался, засуетился, забормотал чего-то, бросился к Егору на шею:

— Эх! Руссэн...

Егор не выдержал, смахнул с ресниц непрошеную слезу и подал немцу руку. Тот горячо пожал ее, попрощался со мной, снял шапку, поклонился и пошел.

Пошел, и долго еще было видно, как спустился

к реке, перешел на ее левый берег, постоянно оборачиваясь и махая нам на прощанье шапкой.

Немец ушел. А мы, два солдата, стояли на берегу, смотрели вслед своему «врагу» и молча улыбались.

— Ну, Ваня, айда! Пора уж. А он — дай ему господь добраться до своих да рассказать там, какие такие есть русские солдаты — Иван Михайлов да Егор Бураков.

Я посмотрел на Буракова и улыбнулся.

3

Над фронтом — рождественская ночь. Тихо. Морозит. В ясном ядреном воздухе — ни звука. И только в небе, словно фонарики, мигают звезды, да белеют снега на полях, да потрескивает, забираясь под ветхие солдатские шинели, мороз, да тихо колышется на бугре белый флаг, выкинутый в знак перемирия, да в окопах и над окопами стоит сплошной гул солдатских голосов.

Всю эту ночь мы не спали. До самого утра шатались, лазили, бродили по окопам и блиндажам, не находя от радости ни места, ни слов.

— Перемирие!

Словно дети, стали суровые и бородатые, измученные войной люди. Другие стали и лица и речи солдат. Вот где-то в темноте вспыхнула спичка. Солдат прикуривает, и видно на минуту, как в улыбку широкую разъехались губы, блестят глаза, сходятся и еще больше расходятся тугие морщины на лбу, серебрится борода от инея...

Спичка гаснет. Опять тьма. Только слышны голоса:

— Братцы! С перемирьем!

— Спасибочко, земляк!

— Р-ребятюшки...

Проходит ночь. На востоке чуть забелело и зарумянилось небо. Начинался день. Мы встретили его рождение громовым «у-р-ра-а!» В воздух полетели варежки, шапки... Солдаты, словно маленькие дети, давно не выдавшие своих матерей, — бросились друг к другу в объятия и целовались, плакали, смеялись...

А день разгорался. Появилось холодное, зимнее солнце. Заискрился снег; засверкали, точно серебряные, сугробы. В воздухе тихо, морозно, и кажется, что где-то в вышине что-то звенит и кто-то поет удивительно красивую песню утра.

В окопах тишина. И вдруг давно-давно знакомое, отравляющее нашу радость, словно прокатилось из конца в конец, от края до края:

— Ста-на-ви-ись!

По окопам, с правой стороны идет начальство: генералы, полковники, офицеры... Идут со звоном шпор, с бряцанием сабель, с блеском орденов и погонов.

— С рождеством христовым, братцы!

— Ур-ра-а-а! Покорнейше благодарим!

Начальство проходит дальше. Нам командуют — «Вольно». Расходимся, собираемся в группы, закуриваем. Но не успеваем еще выкурить по папироске, по окопам опять прокатывается:

— На молебен!

...Среди двух линий окопов, на ровной, расчищенной от снега площадке стоял стол: двое «козел» с положенными на них досками. На столе — скатерть, каравай черствого солдатского хлеба и

деревянная солонка с солью. У стола наш полковой поп готовился к богослужению: надевал светлую ризу, приглаживал волосы, раскладывал кропило, крест и евангелие.

К попу подошел командир полка полковник Нелькин.

— Можно начинать, батюшка.

Священник кивнул головой, отбросил назад свою гриву и засуетился. Нелькин, выпятив грудь, приосанился, набрал в свои легкие воздуха и заорал на все поле:

— Смирно-о! На молитву, шапки — доло-й!

Вскинулись кверху тысячи рук, обнажились ершастые, стриженные и лохматые солдатские головы, серьезными стали лица, заморгали воспаленные от бессонных окопных ночей и порохового дыма глаза. Над строем повисла тишина. Стоят, не шелохнутся стройные шеренги войск. Тихо. Торжественно.

Начался молебен. Молились. В воздухе бултыхались руки, мотались головы, слышался шопот, шел пар от дыхания людей. Широко размахиваясь, солдаты клали на лбы и на плечи тяжелые мужицкие кресты, низко кланялись, касаясь лбами холодного снега. Тихо струился из кадила ладан. Играло на кресте и на медных застежках евангелия солнце. А кругом сверкали снега, сияли сугробы, был фронт.

Кончив славословие, священник пробормотал чего-то над евангелием, взял в руки распятие, трижды благословил им солдат и, обмакнув в котелок с водой кропило, с какой-то молитвой и поением пошел по рядам войск.

Солдаты, утопая в снегу, грохнулись на колени и тихо-тихо запели:

Спаси, господи, люди твоя
И благослови достояние твое.

Поли. А священник ходил по рядам, макал в котелок свое кропило и брызгал солдат водой.

Воды для всех нехватало. Ее постоянно подбавляли в котелок из бочки, которую возила за священником наша старая обозная лошадь «Дочка».

Священник кропил; брызги «святой» воды, попадавшие на солдатские головы и бороды, замерзали и блестели на солнце бриллиантами. Было холодно, морозно. Но это не отражалось на молящихся.

Они пели, и звуки неслись в вышину, в лазурные просторы неба, к солнцу, которое освещало своими лучами эту безрадостную и жуткую картину фронта, эти поля и сугробы, политые кровью и потом солдатским, эти усыпанные телами русских мужиков окопы, блиндажи и траншеи...

Молебен продолжался. Из походной церкви вышел крестный ход. Ярко блестели на солнце медные хоругви, мигали вставленные в фонари восковые свечи, дымились кадила; пахло ладаном; золотом сверкали поповские ризы и погоны генералов... И среди этого великолепия над головами солдат плавали, колыхались портреты царя Николая II и его жены Александры.

Шествие продвигалось вперед. Наш священник поднял распятие, запел молитву и пошел на встречу крестному ходу. Встретились. Военный оркестр грянул гимн. Запел многочисленный хор. Задымились кадила...

Началось новое богослужение. Попы и дьяконы

запели молитвы. Пели поодиночке, по-двое, по-трое, десятками. Солдаты молились. Молился и я. Но когда запели многолетие царскому дому, когда над рядами войск понесли иконы и царские портреты, когда солдаты упали перед изображением царя на колени, — я не вытерпел, вышел из строя, убежал в свой блиндаж и в каком-то полубесчувствии повалился на солому.

— Ты что, Иван?

Поднял голову — Громанюк. Он подсел ко мне и, поглаживая меня, как маленького, по голове участливо спросил:

— Что, Ваня, тяжело?

— Не говори, Максим! Чего там делают, чего делают! Победы у бога просят! Для царя. Победы — ему нашими телами, кровью нашей...

Громанюк оглянулся кругом, скрипнув зубами:

— Михайлов! Ваня! Давно я наблюдаю за тобой... Ты прости. Не думай, чего. Нет. А давно я хотел поговорить с тобой. Слушай.

Громанюк проворно распахнул шинель, расстегнул гимнастерку, снял с груди небольшой образок «Николая-чудотворца», щелкнул какой-то кнопкой, отчего у иконы отскочила задняя крышка, и вынул из «святителя» потрепанный лист бумаги.

— Вот она! Вот где наша правда!.. На, Иван. Бери, бери — не бойся... Прочитай. Ты — грамотный. Только знай: увидят у тебя эту штуку — оба под расстрел пойдем.

Разинув рот и хлопая глазами, я смотрел на Громанюка, не в силах выговорить даже одного слова. А Громанюк передал мне листок, погрозив пальцем, и вышел.

Я взял лист, развернул, и то, что я увидел на этой серой и потрепанной бумажке, заставило надрогнуть и оглянуться.

— Эге! Вот так Громанюк...

Лист бумаги, так бережно хранимый солдатом полка ее величества—Громанюком, был... нелегальной газетой.

Я, дрожа и стуча от волнения зубами, начал читать. И каждая строка, каждое слово были для меня первым причастием к правде, к настоящей человеческой правде.

Фамилия автора одной статьи была «Н. Ленин». Мне хотелось спросить про Ленина и вообще про газету Громанюка, но Громанюк куда-то ушел, и я снова и снова бегал глазами по колонкам газетных строк, снова перечитывал.

«Именно пролетариат самой отсталой из воюющих великих держав должен был, особенно перед лицом позорной измены немецких и французских социал-демократов, в лице своей партии выступить с революционной тактикой, которая абсолютно невозможна без «содействия поражению» своего правительства, но которая одна только ведет к европейской революции, к прочному миру социализма, к избавлению человечества от ужасов, бедствия, одичания, озверения, царящих ныне».

Прочитав газету, я свернул ее, бережно спрятал в нутро шапки и вышел на волю. Где-то поли:

Спаси, господи, люди твоя
И благослови достояние твое...

Там, в окопах, служили молебн. Но итти туда я уже не мог.

Бреду по сугробам. Кругом — фронт. Влево виден Плоцк. Позади меня — наши окопы, впереди — немецкие позиции.

В изнеможении опустился на сугроб. Задумался. Из раздумья меня вывел чей-то голос:
— Эй, руссэн!

Гляжу: на противоположном берегу стоит немецкий солдат, держа какой-то предмет, и, размахивая руками, кричит:

— Руссэн, эй, руссэн, мир!

Любопытство меня взяло:

— Что за немец? Чего ему надо?

А немец рукой машет, к себе зовет. Решился я. Спустился к реке, пошел, да второпях поскользнулся на льду и упал. А пока вставал да отряхивался, немец подошел ближе. Посмотрел я на него да так и ахнул:

— Эге, вот так встреча!

А немец идет, бутылку в руках держит, улыбается:

— Мир, руссэн, мир...

И вдруг он узнал меня. Руки протянул, бутылку уронил.

— О! Руссэн... Здрав, руссэн! Здрав!

Встретились! Опять встретились... Снова стоим друг против друга: стоим два врага, два солдата, два товарища по несчастью...

Стоим, смотрим один на другого, и невольно у обоих брызнули слезы.

— Руссэн!

— Камрад...

Успокоились немного. Гляжу: немец поднял со льда бутылку, откупорил, достал из кармана ал-

алюминиевую манерку, налил в нее вина и подал мне:

— Пьэ, руссэн!

Выпил я — ничего, только дух немного захватило.

— Коньяк?

Немец улыбнулся, вынимает из кармана колбасу.

Закусили. А немец вынул пачку папирос, подал мне, а сам свою «знаменитую» трубку с портретом девушки достал. Показывает ее мне, смеется...

Закурили. В голове у меня зашумело. Немец тоже около лба пальцем крутит: дескать — кружится... Похлопал меня по плечу, показал на снег: дескать — сиди, жди.

Ждать пришлось недолго. Через час, наверное, он вернулся в сопровождении своего товарища. И тот на чистом-расчистом русском языке говорит:

— Здравствуй, русский! С праздником. Разрешите поздравить с перемирием. Дай руку, в честь такого дня!

Стою, глазами только хлопаю. А немец улыбается. Славный такой мужик. Уже пожилой — лет под сорок, черноусый, с большим носом и — что меня поразило — бритый.

Стою перед ними, сказать чего-то хочу, слов не найду. Молчу. А немец смеется:

— Знаю, знаю, как вы Ганса в плен взяли... Молодцы! Рассказывал он нам. Спасибо! Разрешите, русский, познакомиться. Я буду очень рад. Я — Карл. Этот — ваш пленный — Ганс. А вас как звать?

— Иваном.

— А, Иван! Хорошее имя...

Рассказ Ганса произвел среди немецких солдат большое впечатление. Им говорили, что русские — это дикари, варвары, которых надо беспощадно истреблять, иначе они — русские — могут завоевать Германию, а немецкий народ сделают рабами и будут запрягать мужчин в плуги, а женщин насиловать и убивать.

Ганс объяснил своим, что русские такие же, как и они, солдаты, такие же рабочие, как и Ганс.

Сам Ганс до войны был шофером. В Берлине, где он работал на грузовой автомашине, у него есть невеста — Гета, которая его очень любит и подарила ему при отъезде на фронт свой портретик, а Ганс взял да и врезал его в свою трубку. Чудак Ганс!

Сам Карл до войны лет десять жил в России. Работал в Луганске на паровозостроительном заводе — механиком. Года полтора назад его вытребовали, как германского подданного, на родину, мобилизовали на фронт, и теперь он должен сражаться против русских, должен убивать людей, с которыми работал у одного станка и провел чуть ли не четверть своей жизни.

В разговоре Карл спросил:

— Ван, а где твой товарищ? Эгор, кажется... Хотелось бы мне увидеть его...

Не успел Карл сказать своих слов, как с крутого берега Вислы сбежал какой-то солдат и, увидев нас, заорал, да так, что по Висле как гром прокатилось.

— Вот тебе и Егор!

— Н-но?

— Самый он...

Егор быстро — только полы шинели раздувались по воздуху — побежал к нам. Подойдя ближе и увидя меня в компании немцев, остановился, попятился назад.

— Ба! Ванька, чорт... Я думал — ты топиться пошел.

Я похвалился перед своим другом.

— Во! Пленный-то наш, видишь?

— Плен-най? Постой, постой... А, камрад!

Поздоровались. Я представил Егора Карлу. По-знакомились. Егор каблуками щелкнул, согнулся, подал руку, сказал «Здравсте!» — и отрекомендовался:

— Егор Бураков.

— Карл Келлер! — козырнул Карл Егору и стал откупоривать бутылку. — Ну, Эгор, выпьем?

— Как же, как же, — заторопился Бураков. — После такой встречи да не выпить — грех нам будет!

Карл налил половину манерки.

— На-ка, Эгор!

Егор осторожно взял манерку, смачно втянул носом винный запах, поморщился, поздравил нас с перемирием, пожелал всем «доброго здоровья», выпил, крикнул и защелкал языком:

— Ух! Хороша штука-то...

Манерка пошла вкруговую. Пьем. Разговариваем. Бураков рад: хвалит коньяк, Карла, Ганса, меня, снова коньяк...

— Да, — говорит он, — вот и воюй, ребята, с вами. Мы без хлеба сидим, а вы коньяк пьете, колбасу едите. Это — не игра. С колбасой-то и я бы воевал...

— О, Эгор! Позавидовал! Я бы на воде с хлебом сидел, только бы не воевать...

— А что, или и у вас плохо?

— А кому на войне хорошо? Разве не в одних окопах сидим, не одних вшей кормим? Ну вот. А ты хвалишь. Пей вот лучше, а завтра, может, в бою сойдемся.

— Ну и что же? Схлестнемся...

— Стоп! — неожиданно поднял Егор палец. — Что я надумал: идемте к нам в гости! Право. Идемте. У нас там как раз провизию дают.

— Нет, нет, Эгор, что ты...

— Э, да будет вам! Пошли!

Поочереды, Бураков приподнял Карла, потом Ганса, стряхнул с них снег, подхватил их под руки и повел. Карл сначала упирался, отнекивался. Но Бураков уломал его, и наш «вероломный» враг обнял Егора, покачиваясь, пошел рядом с ним.

Я и Ганс шли позади. Оба, каждый по-своему, доказывали, что в том, что мы делаем, нет ничего плохого, ибо «немец всегда добродушен, а русский человек — гостеприимен».

Фронт. Война. Окопы... Два солдата ведут своих врагов в гости... Странно! Очень странно...

Это странное событие случилось в окопах русско-германского фронта 25 декабря 1915 года под городом Плоцк.

5

В окопах, в блиндажах, как в ульях, под воюгласы одобрения и удивления солдат мы пробивались со своими гостями к блиндажу. Уже по черело. Гости сначала трусили, но потом освоились и с любопытством глядели на никогда не виданный ими праздник своих врагов.

Что было на душе у наших гостей — не знаю. Ганс со мной не говорил, а Карл осматривался, щурил глаза, часто останавливался и то и дело спрашивал:

— Ван, а это что? А это что такое?

Я объяснял. Карл недовольно морщился:

— О, Ван, в таких окопах можно только умирать.

Признаться, мне было стыдно слышать эту правду от своего врага. Чтобы скрыть смущение, я что-то говорил Карлу, но он только морщился.

— Ван, брось, в таких условиях вы никогда не победите.

— Ты думаешь?

— Определенно! Война, Ван,— это техника! А у нас вся сила — ружье, штык, молитва, водка. Да разве с этим воюют?

— Что ж поделаешь: заставляют — и воюем...

— Эй, Иван, Иван! Что делать? Очень просто: сила здесь на фронте мы, солдаты! Понял?

Я покосился на Карла. Что это? Он и Громанюк... Почему у них одинаковые мысли?.. Мы уже подходили к своему блиндажу.

Егор ушел получать рождественский паек: бутылку водки, фунт колбасы, калач и пачку папирос; я направился к нашему блиндажу.

— Эй, принимай гостей!

Ребята наши удивленно вскочили на ноги и, не понимая, в чем дело, окружили моих друзей.

— Иван, какими судьбами?

Я представил Громанюку Карла. Карл, немного бледный, но спокойный, поздоровался, назвал себя, отрекомендовал Ганса и кратко рассказал о

причине их прихода, о том, как я и Бураков взяли Ганса в плен.

Ребята еще не знали о нашем подвиге и засыпали меня вопросами. Я в свою очередь объяснил историю нашей встречи и, отводя Громанюка в сторону, шепнул ему о разговоре Карла, когда мы шли с ним сюда.

Громанюк насторожился. Потом подмигнул мне дескать — помалкивай, и обратился к Карлу:

— Извиняюсь...

— А?

— На минуточку...

Громанюк с Карлом вышли на волю, поговорили там что-то и вскоре вернулись обратно.

— Ну что, Максим?

— О, ребята! Радость-то какая, а! Земляков оказывается, Ванька привел! Право. Карл в России жил до войны. В Луганске вместе с моим отцом работали! Знакомьтесь, давайте: Карл, вот наши ребята. Все свои. Ребята, знакомьтесь, сажай гостей за стол!

Наши ребята оправились от смущения, раздвинули круг, посадили Карла с Гансом за стол.

Вскоре пришел Егор.

— Ну вот мы и с праздником, ребята, — ставляя он на полу свою провизию. — Вот так. Ну, закуривай, ребята! Карл, бери. А ты чего, Ганс? А-а, он свою трубку... Дело, дело. Так. Кури, давай. Будьте как дома. Так. А теперь как хотите, а я выпить хочу.

Не прошел час-другой, нашу землянку уже нельзя было узнать: шум, смех, разговоры, — все это смешалось в одну кучу, но одно другому не мешало.

Андрюшка Шарагин то и дело подливал в кружки водку и усердно потчевал:

— Ну-ка, дорогие гости, дербалызнем!

Гости не отказывались. Наши ребята от гостей не отставали. Кое-кто, в том числе и я, уже «нагрузились» и начинали «пробовать» голоса. Но песни у нас почему-то не выходили: то вы-соко возьмем ноту, то мотив перепутаем, то еще чего.

А Шарагин, счастливый и улыбающийся, рас-чорялся всем столом и пиром, устанавливал порядок, угощал и орал на весь блиндаж:

— Ш-ша! Довольно! Ш-ша! Вот! Михайлов, будь другом, дай Ермака!

Песня «Ермак» была любимой песней Шараги-на. Я запел ее низко, протяжно, длинно:

Ревела буря, дождь шум-мел,
Во мраке мол-ло-нья сверкали...

— Во! Во-во! — подзадоривал Шарагин.

Сибирь царю покорена,
Но Ермака уже не стал-ло-о.

Шарагин, обняв Ганса, старательно выводил са-мые высокие ноты песни, и его тенор звенел по землянке, как серебряный колокольчик.

Смотря на Шарагина, наши гости не выдержи-ли: подлаживаясь под «Ермака», они затянули что-то по-немецки и пели, позабыв, что находятся у неприятелей, с которыми, может быть, завтра придется сойтись в рукопашном бою.

Так мы встретили и провели первый день рож-дства христова.

В блиндаже еще темно.

С трудом я приподнялся и открыл дверь. С воли ворвалась морозная струя воздуха. Стало легче. Оглядываюсь. Шарагин сидит на сундучке, обувается. По углам и на полу блиндажа валяются пустые бутылки, окурки, огрызки вчерашней закуски и наши ребята.

— Ишь, черти, дрыхнут, — поддегивая брюки, Андрюшка прошелся по блиндажу.

— У тебя башка болит?

— Болит.

— Айда тогда умоемся снегом.

Вышли на волю. Было еще рано, морозно и холодно. Но день выдался хороший — яркий, солнечный. Над окопами тихо и пусто. Все еще спали. Не было даже часовых. Только легкий морозный ветерок играл белыми флагами, выставленными в знак перемирия.

Выпрыгнули за бруствер.

Что это такое?

По полю, в окопах, уткнувшись как попало в снег, в разных позах и местах валялись солдаты.

— Чего это?

— Замерзли!

Да, это были замерзшие. Вчера, напившись пьяными, солдаты разбрелись и распозлились из окопов и, уткнувшись в сугробы, уснули, чтобы больше не просыпаться. Так встретило русское воинство великий праздник рождества христового.

Потерев снегом лицо и руки, мы умылись, пошли обратно. В блиндаже уже проснулись. Ребя-

та и гости сидели на полу — растрепанные, с опухшими лицами и косо поглядывали на пустые бутылки.

— Ага! Проснулись?

Промолчали. Кто-то попытался сморозить какую-то шутку — ничего не вышло.

Ахмет взял чайник, пошел за кипятком. Молча попили чаю, закусили рождественскими поскребышами и, закулив, молчаливые и недовольные опять расселись по углам, нахохлились.

Немцы начали собираться домой.

— Ну, друзья, — улыбнулся Карл, — большое спасибо за ваше угощение. Благодарим. Желаем так же весело провести время и сегодня. А мы пойдем.

Всей компанией пошли проводить гостей. На прощанье Ганс что-то сказал Карлу. Тот улыбнулся:

— Ах, да! Я и позабыл. Знаете, что, ребята? Громанюк, Шарагин, Эгор, приходите к нам! Все приходите. Что? В гости!

Предложение Карла понравилось. Только Бураков подозрительно покосился на Карла и спросил:

— А ничего там с нами не случится?

— Не беспокойтесь. Все наше командование уехало по случаю перемирия в тыл; в окопах — одни солдаты. Ну, а солдат солдату, известное дело, свой человек. Придете? Ну вот. До свидания. Значит, вечером переходите Вислу — и к нам. Мы встретим вас вон у этих деревьев...

Простились. Карл с Гансом спустились на лед, перешли Вислу и скрылись на противоположном берегу. Мы постояли, поглядели им вслед и побрели обратно в свои окопы.

В сумерки собираемся в гости. Андрюша захватил с собой гармошку. Мы принаряжаемся и всей компанией выходим из блиндажа. На воле вечер. Холодно. Под ногами хрустит снег. Морозит. Мороз бодрит нас, вливает в тело новые силы, и мы, с шутками, прибаутками, веселой гурьбой идем к Висле.

Спустились к реке, перешли ее, остановились. Андрюшка вложил в рот два пальца. По замерзшей реке, отдаваясь вдали эхом, прокатился пронзительный «разбойный» свист. В ответ залажали сторожевые немецкие собаки. Испугались. Присели, прислушивались. Через минуту с берега послышался тоже свист — отрывистый.

— Они!

— Наверное.

Осторожно пошли дальше. Навстречу нам из тьмы показались фигуры людей. Мы остановились, окликнули:

— Карл!

— Я.

— Ну, как дело-то?

— Ничего, идемте.

Вышли на берег. Кругом была ночь. Морозило. На небе блестили крупные, яркие звезды. И в эту ночь, под этими звездами вчерашние враги встретились еще раз как товарищи...

Добрались до блиндажа. Вошли в него.

— Эге-ге-ге! Настряпали...

Посредине блиндажа стоял самодельный стол,

две пустые бочки из-под цемента, на них — дверь. На столе бутылки с красным вином, белый хлеб, банки консервов, папиросы.

— Здравствуйте, товарищи!

Увидя Буракова, Ганс встал со своего места.

— О-о, Эгор, здрав бывай, Эгор!

Бураков схватил Ганса за руку.

— Ганя! Здравствуй, друг...

Поздоровались. Немцы с любопытством рассматривали нас со всех сторон; потом начали хохотать.

Признаться, нам было стыдно перед своими хозяевами. Немцы — то ли на время перемирия, или к нашему приходу — надели новое обмундирование: суконные тужурки и такие же брюки; некоторые были в желтых гетрах, в чистых рубашках и даже при галстуках.

А мы? Грязные, лохматые и бородатые, в старых шинелишках, в полухудых «голых» сапогах...

В блиндаже было тепло. В углу топилась раскаленная докрасна железная печка. Стены блиндажа обиты тесом. Накат из толстых бревен — снарядом не прошибешь. Кругом чисто, уютно и так хорошо, что Эгор не вытерпел и от чистой души похвалил:

— А-яй! Ну и живете вы! Как баря...

Карл перевел Егоровы слова своим товарищам. Те засмеялись и начали что-то говорить.

— Ребята! Я помню одну русскую пословицу: «В гостях воля не своя», кажется. Давайте раздевайтесь, будьте как дома и, знаете что, только не обижайтесь: разрешите привести вас немного в порядок. У нас есть машинка. Хотите остричь волосы?

— Волосы? — обрадовался Шарагин.

В руках у одного немца блеснула машинка. Он пощелкал ею и, смеясь, спросил:

— Кто первый?

Поочередно мы садились под машинку и, не успев опаматоваться, наши волосы, усы и бороды уже лежали кучей на земле, а головы стали как арбузы.

— Эх! Вот хорошо! — вскрикнул Шарагин и звонко шлепнул Буракова по голой голове. — Теперь у тебя на башке, Егор, в шары можно играть!

— Брось ты, дура! — оглядываясь на немцев, обиделся Бураков. — Чать, не дома.

Пока Шарагин с Бураковым шутили, немцы присели на корточки и разглядывали лежащую на полу кучу наших волос. Куча была живая, тихонько шевелилась. Я тоже подошел к немцам и вздрогнул. Но ничего страшного не было: это шевелились вши.

Нам было стыдно. Громанюк быстро собрал наши волосы и бросил их в печку. Вши затрещали на огне, как масло на сковороде.

— Простите, товарищи...

Немцы переглянулись между собою.

— Да, ребята. Видно, не сладкое у вас житье, когда такое стадо развели.

Карл подмигнул своим, подошел к ящику, открыл его, вынул, видимо, заранее приготовленный сверток, развернул его и подал каждому из нас по паре белого трикотажного белья:

— Одевайте.

— Как — одевайте?

— Так и одевайте. На память.

Бураков даже рот разинул от удивления.

— Господи! — перекрестился он.

— Да как же это, а? За что же, Карл? Что ты это... Мы завтра, может, убивать вас будем...

Стыдась и стеснясь, мы переоделись. Карл пригласил нас к столу, налил в манерки коньяку.

— Ну, друзья! Поздравляю вас с перемирием и с нашей дружбой. Пусть наша сегодняшняя встреча послужит залогом скорейшего окончания войны. Друзья! Мы — солдаты. У нас общее горе — война. Так пусть в этой кружке загорится наша надежда, что скоро будет заключен мир и мы вернемся домой.

Выпили. Повторили. Немцы, через Карла, попросили нас спеть «Ермака».

Мы спели. Немцы захлопали в ладоши.

Андрюшка взял гармонку... Играл он замечательно. Так играл, даже Бураков вылез из-за стола, топнул ногой:

— Андрюшка! Дай камаринского!

Андрюшка перебрал лады и заиграл «камаринского»:

— Крой, Егор, вдоль Волги!

Егор взмахнул руками, крикнул «Эх!» — и неуклюже, точно медвежонок, затоптался на одном месте, смешно тряся задом и шваркая сапогами.

Немцы повскакали с мест, захлопали в ладоши, закричали:

— Браво! Бис, русский!

После Егора плясали поочереды все: и немцы и мы. А когда Андрюшка перестроился на ходу и заиграл «Казачка», вдруг выскочил Громанюк и, отбив чечетку, показал такую восхитительную присядку, что немцы рты разинули.

Неожиданно нашу радость испортил Егор. В самый разгар веселья он вырвал у Шарагина

гармонь, отшвырнул в сторону, подбежал к столу, налил манерку коньяку, выпил его и с треском разорвал на груди гимнастерку.

— Егор! Егорка, что ты?

— Эх, ребята! Ведь завтра воевать начнем! За что? За что мы будем изводить друг друга, а?

— Егорка, брось! Брось, говорю тебе. После об этом. После! Не сейчас. Здесь не место. Брось!

Но Егорка разошелся. Он оттолкнул от себя Громанюка и засучил рукава:

— Уйди, Максим, убью! Нельзя... Чего нельзя? А я скажу! Скажу я. Счас скажу! Что ты мне — рот заткнешь, да? На-ка, вот! Как я буду, коли завтра скажут: «Пли!», «Огонь!» — а я знаю, что здесь они вот: Карла, Ганс, они вот!

К Буракову подошел Шарагин, хотел его успокоить, но в тот же миг отлетел от него, словно котенок, вздумавший поиграть с волкодавом.

— Уйди, Андрей. Зар-режу! Растревожили! Душу мою растревожили.

Егор схватился за бутылку и запустил ею в одного немца. Тот увернулся от удара и подошел к Егору.

— Эгор! У вас на сердце тяжело, бутылка не есть виноватый. Бутылка разбивать — вам не будет легко. Надо головой думать, как сделать легко. Ногой-рукой только осел делает так. Вы — не осел, Эгор.

Но Буракова унять трудно.

— Осел! Осел! — кричит он. — Да что мне твой осел, когда у меня душа с места тронулась! — Егор схватил Ганса за ворот гимнастерки и стал трясти, приговаривая: — Ганя! Ганька, понимаешь — сердце с места тронулось!

Ганс ловким движением подставил Буракову «ножку», опрокинул его на пол и повалил.

— А! Так! Да! Я тебя! Заррежу-у!

— Вяжите его! — крикнул Громанюк. — Вяжите, ребята!

Мы навалились на Егора, связали его ремнями и положили в угол. Но Егор еще с полчаса орал, грозился кого-то зарезать и, наконец, уснул.

— Какой беспокойный характер у этого солдата, — заметил один из немцев. — Это — плох. Он теряет свой дурной голов — как котелок.

— Ничего, — сказал Громанюк. — Проспится, человек будет.

Егор спал. Но «компания» наша уже расстроилась. Мы стали собираться домой. Шарагин хотел было будить Буракова, но Карл остановил его, сказав:

— Ничего, пускай спит здесь. Проспится — придет.

9

Над окопами морозный вечер. Тихо. Ясно. Ярким дрожащим светом мерцают звезды. Опрокинулся по небу ковш Большой Медведицы. Чернеют окопы, леса. Раскинулись кругом безбрежные, завьюженные буранами поля. И среди этих снегов и полей, изрытых окопами и развороченных снарядами, в кольце жарко и весело потрескивающих костров стоит громадная ель.

Это — елка. Наша, солдатская елка, наша окопная радость.

Мы встречаем новый — 1916 год!

Ровно в полночь зажгли елку. На ее вершине вспыхнула яркая «вифлеемская» звезда, замигали

«китайские» фонарики, запылали костры, с боем на елку были наведены прожекторы.

И среди этой красоты и великолепия выделялась одна нелепица — солдаты: в рваных шинелях, в худых сапогах, небритые.

Солдаты переглядывались между собой, перешивались. На фанерном ящике черным углем было написано: «Долой войну!» Около солдат толпился Андрюшка Шарагин. Он щурился, непрерывно дымил папироской, казался равнодушным, но по всему было видно, что «воззвание» было делом его рук. Однако Андрюшка и вина не подавал, только щурился да лукаво улыбался:

— А-а! Здорово написано...

Когда Шарагин пришел в наш блиндаж, Гриванюк спросил его:

— Андрей, это ты намалевал?

— Я, Максим!

— Смотри, парень...

— Смотрю, Максим. Обоими глазами.

— То-то...

— Ничего! Действовать надо...

И Шарагин действовал. Он ходил по окопам, угощал солдат махоркой, прислушивался к разговорам. Лохматые и грязные, мы стояли вокруг елки и искренне, по-детски восхищались.

Восхищаться было чем. На елке болтались пакеты с табаком, пакеты, сумочки с гостинцами — жертвы и труды «сердобольных» барыnek и гимназисток.

Внизу, у самого основания елки стоял «дед мороз». Он был одет в новую солдатскую шинель, на голове — башлык, в руках — винтовка со штыком.

Около него толпились солдаты, которые «отмачивали» перед ним разные штуки.

— Ай, мороз! Ай, старик!

— Не подходи, паря, пульнет!

Хохотали. И на самом деле, все это — и елка, и «мороз», и подарки внесли в нашу жизнь маленькое разнообразие, все это напоминало о далеком доме, о семье.

Было и радостно и грустно.

...Торжественную встречу нового года открыл командир полка полковник Нелькин. Он подошел к «морозу», козырнул ему и попросил разрешения поздравить солдат с новым годом. «Мороз», конечно, разрешил. Нелькин встал на бочку, поднял вверх манерку с водкой и поздравил нас:

— С новым годом! С новым счастьем, братцы!

— Ура!

— Пусть этот год принесет нам победу!

Грянула музыка. Вверх полетели ракеты. Раздались залпы. Солдаты затеяли вокруг елки хоровод, придумали старинную русскую игру в «заиньку».

Игра состояла в том, что выбирали «жениха», он становился в хоровод и запевал:

Хожу я, гуляю

Вдоль по хороводу...

А остальные хором подхватывали припев:

Заинька, беленький.

Жених выбирал себе из числа играющих «сваку», потом «гостя», тещу и, наконец, «невесту». Когда «невеста» была выбрана, устраивали «свадьбу», угощали молодых, они, в свою очередь, угощали нас и начинали играть снова.

«Сваха» представляла из себя пьяную бабу: выркалась в снег, визжала, охала. «Невеста» кетничала — ходила по хороводу, виляя задом, ворила смешные прибаутки, целовалась с «женихом». А «жених» важно кашлял, крутил усы, говорил по-«интеллигентному», потом вал «невесту» на снег и ржал по-лошадиному:

— Иго-го-го! Иго-го-го!

.....

Прошла новогодняя ночь. Погуляли. А наутро на крутом обрыве берега Вислы в снегу торчал длинный шест, на котором была прибита доска фанерного ящика.

На рассвете, когда солдаты расходились с окопов, по блиндажам были разбросаны листовки.

На время перемирия крупное начальство уехало в Плоцк. Среди солдат началось брожение.

Только здесь, в окопах, в дни перемирия окончательно понял, что такие люди, как Громнюк и Карл, представляют из себя громадную магическую силу, которая невольно притягивала и подчиняла себе каждого солдата, делая их активными участниками фронтовых событий.

А события нарастали.

Карл сообщил нам, что у них в окопах тоже неспокойно: отдельные солдаты и даже целые части немецких войск открыто отказываются сражаться против русских. Две роты у них уже расформировали и отправили в тыл. Многих арестовали.

.....

У нас радость — приехал Андрей Александрович Буренов.

С момента нашего разгрома мы еще не видели своего прапорщика и, признаться, скучали по

своим командире. Но сегодня Буренов опять с нами.

— У-с, чорт! Вот они где! — вваливаясь в блин-
ник, заорал Буренов. — Здорово, ребята! Здрав-
ствуйте!

— Б-ба! Андрей Александрович! — вскочил Ша-
гин. — Дорогой гость!

— Ну, Андрей, как дела? Как перемирие про-
шло? У немцев был?

— Был, ваше благородие. Всей «компанией» хо-
дили!

— Вот чорт! Чего же ты делал у них?

— Гулял!

— Н-ну? Это здорово! Да, Андрей, а ты какое
звание написал?

Андрюшка запнулся, закусил губу и невнятно
шормотал:

— Я? Чего я? Ничего...

— Брось, — сплюнул Буренов. — Ты что мне
кручишься! Думаешь, не знаю? Ну, вот. Да ты
не бойся. Нет. Только знаете что: за вами, ребята,
следят!

— Что-о? — вздрогнул Громанюк.

— Да, да! Следят. Еще в Плоцке слышал... Будь-
те осторожнее. Как своим говорю. Знаю, ребята:
хорошее дело задумали.

Мы рты разинули на своего прапорщика. А Гро-
манюк, прищуриль глаз, подошел к Буренову бли-
зко и твердо спросил:

— Буренов! Скажи по совести, наш?

Буренов отступил шага на два назад и ласково,
просто улыбнулся.

Громанюк и Буренов подали друг другу руки и
крепко расцеловались. Буренов вытирал вспо-
мнившееся лицо. На глазах у Громанюка были слезы.

Стоим над станцией Шидловская. Над окопами весна. Тают снега. На холмах и пригорках появились первые плешины земли. Начинает зеленеть трава. Греет солнце. От земли поднялся пар. С каждым днем становится все теплее и теплее. Водят невидимые под снегом ручьи. Журча и позванивая, они расползаются в разные стороны, заполняя водой ямы, ложбины, воронки.

Весна! Но для нас она не на радость. Зимой нам было лучше. Хотя и холодно, зато сухо. А сейчас каждая яма превратилась для нас в ловушку. Сверху на ловушках снег незаметен, а встанешь на это место — и, у-ух! — чуть не по горло уйдешь в холодную, ледяную воду.

Кроме того, местность под Шидловской низкая, болотистая, а русские окопы были сделаны так, что их с первого же дня таянья снегов стало заливать водой.

Весенняя вода принесла нам неисчислимые бедствия. Она размывала окопы и укрепления, мешала продвижению войск, топила артиллерию и коней, обозы и транспорты...

Мы день и ночь гатили болота: строили дамбы, дороги, мосты, выкачивали и откачивали из окопов воду ведрами, котелками, кружками; устраивали плотины, насыпи, земляные барьеры. И ничего не помогало. Вода капля за каплей просачивалась сквозь устроенные нами преграды, неожиданно прорывалась где-нибудь — и сплошными потоками хлестала в траншеи, смывая на своем пути землю, повозки, людей, лошадей и орудия.

У нас распространились слухи, что немцы готовят какой-то таран, которым они хотят разгромить

наш фронт от Баржимова до Шидловской и
основания уничтожить всю нашу армию.

Под Шидловскую пригнали семь дивизий пехо-
ты и сто батарей артиллерии. Готовились к боль-
шому сражению. Мы круглые сутки ремонтирова-
ли укрепления, рыли новые окопы и траншеи.

Немцы также готовились. По ночам, когда на
фронте особенно тихо, слышно, как гудит земля.
Они подходят на позиции немецкие военные транс-
порты — подвозят войска, артиллерию, снаряды,
привозят боевое снаряжение.

Русские перебросили под Шидловскую сто два-
дцать тысяч человек пехоты, посадили ее в око-
пы, а на Шидловских высотах устроили «артил-
лерийскую подкову», поставили полуколемном
шестьсот орудий (сто батарей, по шесть орудий в
батарее), зарядили их и стали ждать наступления.

.....
Настал день, когда немецкий таран был пущен
в ход.

Он начался ураганной артиллерийской бомбар-
дировкой. Немцы били по нашим окопам из тя-
желых орудий. И били очень оригинально. Они
разделили русский фронт, как шахматную доску,
на отдельные квадратные клетки и клали в эти
клетки, размером не более одной квадратной вер-
сты, от двух до трех тысяч снарядов.

В воздухе стоял непрерывный гул. Осколки сна-
рядов, шрапнель и пули летели так часто и гу-
сно, что когда Шарагин, «шутки ради», надел на
себя свою шапку, то через какую-нибудь минуту
она превратилась в лохмотья, а палка была рас-
сломана в щепки.

Мы все глубже и глубже зарываемся в землю.
Земля дрожит. Раздаются взрывы. В воздух взле-

тают разорванные на клочья люди и целые горы земли и, взлетев, с шумом, с грохотом падают обратно, заваливая и погребая под собой живых и полуживых еще от страха людей.

И весь этот кошмар усиливался еще тем, что с нашей стороны не было ни одного выстрела. Нам запретили отвечать на огонь неприятеля. У нас было мало снарядов и патронов.

Русский фронт казался мертвым.

В полдень бомбардировка прекратилась.

Но тишина продолжалась недолго. Вскоре где-то вдали послышался гул. Сначала слабо, потом все ближе и ближе, все сильнее слышался этот гул.

Мы не вытерпели; словно галчата из гнезда, высунули из окопов свои головы — и...

— Р-ре-бя-та!

Впереди нас, по всей линии фронта — и вправо, и влево, и куда только ни взглянешь, на наши окопы двигалась мутно-зеленая волна с черным гребнем. Это шла в атаку немецкая пехота.

Немцы наступали лавой. Густота их войск доходила до того, что в одном месте, на протяжении трех-четырех верст, пехота слилась в сомкнутый строй и мерным шагом, поблескивая штыками и касками, шла вперед.

Идет. Все ближе и ближе... И вдруг с Шидловских высот раздался залп. Страшный залп! Земля колебалась под ногами земля. Дрогнула и загудела от оглушающего взрыва воздух. Над нами прожужжали сотни снарядов.

— У-у-у-у-у-у!

Русское командование хотело одним залпом ударить по немецкому тарану и потом пустить в дело пехоту и конницу. Но артиллеристы взяли неправильный прицел, — не рассчитали, видимо, или не

так было приказано: большинство снарядов дали подолет и упали на наши же передовые линии окопов, не причинив немцам никакого вреда.

Сидящая в передних окопах наша пехота, услышав залп и видя, что снаряды рвутся в наших траншеях, подумала, что немцы ударили с тыла, и, без приказов и не сговариваясь, стала отступать.

Своим залпом артиллеристы открыли врагу место расположения наших батарей. Открыли — и минут через пятнадцать заговорили немецкие батареи. И через час наша артиллерия была разбита.

Немецкая пехота снова со штыками наперевес шла в атаку.

.....
Уже затихли последние выстрелы с нашей стороны. Уже прощеслись на храпящих лошадях последние уцелевшие батареи «знаменитой» шидловской артиллерии. Уже в грохоте немецких орудий не слышно ни стонов раненых, ни криков живых людей. Уже не видно в пороховом дыму бегущих, спотыкающихся и падающих солдат. Уже ничего не видишь, не слышишь и не соображаешь. Чувствуешь только одно: мы разбиты и нас еще бьют.

Нет и пулеметчиков. Лежат они, раскиданные по широкому полю шидловскому. Крепко уснули пулеметчики. А их пулеметы, уткнув свои тупые выльца в землю, уже перестали хохотать своим трескучим смертоносным смехом. И только четыре пулемета, около которых находится наша «компания», продолжают тараторить горячим свинцом.

Около нас — никого. В окопах только мы — семь рядовых пулеметчиков да прапорщик Буренов.

Остальные отступили. А нам бежать было нельзя! Достаточно было показать из окопа голову, как ее моментально бы разнесло на черепки.

Буренов точно окаменел. Он лежит в наблюдательном пункте, недалеко от нас, и только кричит:

— Чорт! Держись, ребята! По левому флангу, сгонь! По левому... Правее, чорт! Так. Держись, ребята... Держись. До последнего патрона держись...

Мы держимся. До крови закусив губы, забывав об опасности, мы судорожно вцепились в ручки пулеметов и, едва успевая заправлять ленты, бьем.

Слабеют наши пулеметы. Один из них так раскалился, что уже не тарахтит, а только плюется — как шамкающая беззубая старуха, и пули, едва вылетев из ствола, уже не режут воздух, не визжат, а тихо ложатся впереди нас расплавленными.

Над полем сражения стоит густой пороховой дым. Над нами рвутся снаряды. Цокают пули. Визжит картечь. Но мы ничего не чувствуем.

Жарко. Душно. От дыма, от разбрасываемой снарядами земли ничего не видно. Пороховые газы распирают грудь, стесняют дыхание, вызывают кашель, хрип. Раскаленные части пулеметов жгут руки. Около нас навалены вороха патронов, груды мертвых тел...

Мы тщетно стараемся преградить огнем своих пулеметов наступление врага; мы беспощадно, с упором расстреливаем немецкую пехоту, — а пехота все идет и идет.

Наконец не выдержали. Егор бросил пулемет, сел на дно окопа и тихо прохрипел:

— Броса-ай, ребята...

Пулеметы умолкли. В окопе стало тихо.

— Стой, ребята! — кричит Буренов. — Стой, не бросай!

— Ничего не выйдет, ваше благородие.

— Выйдет!

Буренов встал из-за прикрытия и направился было к нам. Но не успели мы глазом моргнуть, как Буренов покачнулся, взмахнул руками и упал. Мы подбежали к своему командиру. Поздно. Буренов был уже мертв.

— Эх, Андрей Александрович...

Молча мы переглядываемся друг с другом. Всем тяжело.

Проходят минуты. Мы начинаем прощаться. Ахмет встает на колени, начинает молиться. Латыш — наружно спокоен: он, до крови закусив губы и сжав кулаки, стоит и о чем-то думает. Громанюк позеленел. Егор-Егорьевский виновато хватается за свой зад, но мы не обращаем на него никакого внимания: ничего не поделаешь — война, страх...

Ко мне подползает Шарагин. Он обнял меня, поцеловал и заплакал:

— Иван, Иван! Пропали, ни за грош!

Прощаемся.

Вдруг Громанюк сорвался с места и побежал к соседнему пулеметному гнезду.

— Куда? Чорт!

Смотрим: Громанюк тащит из кустов два пулемета.

— Давай патронов! Давай патроны!

Поняли. Торопливо, ползком, забывая об опасности быть убитыми, мы собираем патронные ленты, складываем их около своих пулеметов.

Страх прошел. Пулеметы — в боевой готовности. Ахмет бросил своего аллаха и, заправляя ленту, шепчет:

— Давай, давай, малай! Давай, покажем яво сей час шакалад-мармалад.

Мы подпустили немцев на сто шагов и открыли огонь.

Где-то в стороне раздалось тихое, неуверенное

— Ура!

Это наша пехота, оправившись от разгрома и почувствовав в трескотне наших пулеметов поддержку, пошла в контрнаступление. С правой стороны прогремел одинокий орудийный выстрел. За ним второй, третий... Громче, чаще, смелее. Застрекотали чьи-то пулеметы. Откуда-то на юрких и мохнатых лошаденках выскочили донские казаки.

— Ура-а!

— Ур-ра-аа!

Мы бросили стрелять, переглянулись и облегченно вздохнули.

Радость была преждевременной. Часа через полтора страшным контр-ударом немцы опять опрокинули наши войска, заставили отступить и опять пошли в атаку.

Наши отступили. А мы попрежнему сидим и лежим около своих пулеметов и приготовились опять: или погибнуть, или отразить нападение врага.

Ни погибнуть, ни отразить врага не пришлось. В самый разгар наших приготовлений к бою из-за кустов выехал Годовицын.

— Вы чего тут?

— Немца бьем, ваше благородие!

— Дураки! Бегите! Весь фронт уже отступил.

Стоим верстах в двенадцати от Шидловской.

Где-то вдали еще идет сражение. Мы равнодушны сейчас ко всему, ибо немецкий таран, шидловская трагедия и несколько часов, проведенных нами в бою, отняли у нас всякое чувство и понятие о чужих страданиях, хотя бы и наших товарищей.

Мы отдыхаем. Лежим на траве. Вокруг нас — густой сосновый лес. Мы наслаждаемся покоем и природой. Громанюк валяется брюхом кверху на зеленой лужайке и, нахмутив брови, пристально смотрит на свою поднятую кверху коленку и ковыряет на штанах дыру. Ахмет, прислонившись спиной к дереву, закрыл глаза, мурлычет себе под нос какую-то песню или молитву, у которой, похоже, нет ни начала ни конца.

Я, развалившись на траве, смотрю на небо. Латыш спит. Андрюшка, лежа на брюхе, заинтересовался муравьем, который нес какую-то былинку.

— Вот, чорт, какой сильный!

А Егор, подперев рукой щеку, жует травинку и в перерывах между этим «занятием» старается попасть плевком в гнилой пенек.

Нам хорошо. Мы улыбаемся. У всех радостные лица и великолепное настроение. Нам хорошо, но воспаленные глаза, трясущиеся руки и ноги, страшная пустота в желудках — все это без слов говорит, что мы страшно устали, измучены и до одуренья хотим есть и спать.

Шарагин бросил своего муравья, переобулся, оправил гимнастерку и лениво улыбнулся:

— Ну, айда до кашевара.

— Правильно! Вставай давай!

Мимо разбитых парков и гомонящей толпы солдатни кое-как добрались до обоза и разыскали кухню.

— Кашевары! Давай жрать!

Рябой кашевар Маврушин — толстый и ленивый, как и все кашевары, взгромоздился на передок походной кухни, отбросил с котла крышку и зачеляпил нам полное ведро пшенной кашицы.

— Держи.

Взяв кашицу, мы отходим немного в сторону, рассаживаемся вокруг ведра в кружок, вынимаем из-за голенищ ложки и, фыркая и обжигаясь, минут за десять опоражниваем все ведро.

Сразу переменялось настроение!

Ахмет, выскабливая ложкой бока и дно ведра, жмурится от удовольствия, щелкает языком и хвалит:

— А-яй, Мавруш! Больно, бит, хорош твой кашка, да больно наливал маленький чашка...

Кашевар смеется.

— Еще, что ли?

— Добавь, Маврушин!

Ахмет принес еще с полведра кашицы и полбуханки хлеба. И это съели. Наелись, идем курить. Потом выбираем хорошие местечки, расстилаем на земле шинели и ложимся спать.

Эх! Спать бы, спать — не просыпаясь, спать без конца, без краю...

Но на фронте мы были лишены и этого удовольствия — поспать. Законы войны и самодурства нашего начальства отнимали у солдата даже сон.

Не помню: час, полчаса или меньше проспал я, как тяжелый удар в бок разбудил меня.

— А?

— Вставай!

Вскакиваю. Предо мной штабс-капитан Годовицын. Пьяный, едва на ногах стоит. Вокруг наши ребята. Они что-то бормочут, переминаются с ноги на ногу, виновато оправляют гимнастерки.

А Годовицын, покачиваясь из стороны в сторону, машет руками и кричит, пересыпая свои слова отборнейшей матерщиной:

— А-а-а! Вот где вы!.. Ага! Вы что наделали? Где пулеметы?

Я наконец понимаю, в чем дело, и пытаюсь объяснить:

— Мы, вашебродье, их в землю зарыли.

— Малчать!

Я опять пытаюсь объяснить — как было дело, но Годовицын вместо ответа щелкнул меня по зубам.

— За что, ваше благородие?

— М-малчать! Га! Ты что, оправдываться? Плевать! Для меня вас бы всех перебили — плевать! А раз остались в живых, пулеметы должны быть здесь!

— А как же их, ваше благородие, теперь достать-то?

Годовицын покосился на Шарагина, икнул, потрогал рукой свой кадык и, убедившись, что он еще на месте, заревел, обдавая нас запахом спирта.

— Ка-а-ак! У немчуры из глотки вырвите. Поняли? А то под суд, в штрафной батальон, на ка-торгу сошлю, сукиных сынов!

Покачиваясь и матерясь, Годовицын повернулся и, звеня шпорами, ушел.

Мы смотрим ему вслед, качаем головами:

— А-яй, собачка! Поискать такую...

Злые, мы сидим всей «компанией» в лесочке и думаем.

Долго думаем, без перерыва глотая махорочный дым, боясь даже взглянуть друг на друга.

— Ну как, ребята?

Вздохнули только.

— А?

Опять промолчали. Наконец Шарагин встал, взял в руки винтовку и, сжимая ее, зловеще прошептал:

— Ну, ребята! Я этому гаду... Вот по этих порштык засажу...

Метнули медный пятак: «орлу» итти, «решке» оставаться.

Жребий пал на троих: на меня, Шарагина и Латыша.

Когда свечерело, начали собираться: взяли с собой по две гранаты, винтовки, саперные лопатки и попрощались.

— Ну, ребята, может, не увидимся больше...

— Прощайте! Счастливого путь...

Пошли обратно под Шидловскую. Идем наугад. Ни тропинки, ни дороги. Темно — хоть в глаза коли. Весенняя ночь. Тихо. Тепло.

К полуночи добрались до Шидловской. Разыскали свои позиции, нащли окопы, сели совещаться.

Сидим, а рядом, в полуверсте, не более, слышно: фыркают кони, звякают подковы, разговаривают люди...

— Немцы!

— Тише...

Легли, притаились, ждем. Немцы, очевидно — разъезд, проехали.

Разошлись и мы в разные стороны. Ползаем, лазаем, щупаем каждый бугорок, каждую кочку...

— Ребята!

Никого. Кашлянул — ни звука. В темноте натолкнулись на чей-то труп. Ощупал его — и отшатнулся от ужаса:

— Буренов! Ага, значит где-нибудь здесь...

От Буренова уже начало пахнуть. Трупный запах, тонкий, острый и противный, лезет в нос, вызывает тошноту, изжогу...

Еще час-другой — рассветет и поиски будут напрасны: нас заметят немцы и или подстрелят, или заберут в плен.

Встал на четвереньки и пополз в левую сторону, вспомнил, что во время боя Буренов был от нас вправо. Значит, пулеметы должны быть в левой стороне.

Натолкнулся на какой-то бугор. Встаю на колени, снимаю с ремня «саперку» и начинаю копать. Лопата ударилась о железо. Легкий звяк. Еще проворнее начинаю работать лопаткой.

— Ребята! Ребята...

Никого. Что делать? Решился на последнее: вложил в рот два пальца, свистнул. Ни звука. Еще раз свистнул. В кустах что-то захрустело. Приготовил на всякий случай гранаты.

— Кто?

— Я! Нашел, что ли?

Шарагин подполз. Вдвоем мы вынимаем один пулемет и продолжаем откапывать остальные. Вскоре подоспел Латыш. Тихо, на скорую руку вынимаем последние пулеметы.

— Ну, пошли?

— Стой, ребята! — вспомнил я. — Буренов здесь! Подошли к Буренову. Осторожно поднимаем

окоченевшее тело своего командира, тихо опускаем его в яму и снимаем шапки.

— Спи, дорогой Андрей Александрович...

Буренов зарыт. Мы еще раз мысленно прощаемся со своим командиром и, взвалив на спины пулеметы, осторожно уходим обратно.

.....

Утро. Возвращаемся в свои окопы. Здесь нас встретил Годовицын.

— Ого! С пулеметами?

— Так точно, ваше благородие.

— Молодцы, молодцы! Спасибо за службу. Да-с! Не ожидал. Сегодня же отдам рапорт о вашем подвиге.

Мы понимаем, что Годовицын рад подать рапорт, чтобы получить Георгия себе.

В эту минуту любой из нас готов был вдребезги избить Годовицына.

Но мы, уставшие, измученные, стоим перед Годовицыным навтыяжку, однотонно долбим:

— Так точно!

— Рады стараться!

— Слушаемся, ваше благородие!

13

Обещание Годовицына сбылось.

Недели через полторы, кажется, по дивизии был отдан приказ:

«За беззаветную храбрость в сражении под ст. Шидловская, проявленную пулеметчиками 2-й роты 21-го Сибирского ее величества Стрелкового полка, наградить командира роты штабс-капитана Годовицына серебряным георгиевским крестом 1-й степени».

Далее в приказе говорилось о нашем награждении.

С тех пор мы стали полными «Егорьевскими кавалерами».

.....
Прошла еще неделя. И однажды ночью, идя в наступление, Андрей Шарагин, не сговариваясь, пустил Годовицыну две пули в затылок...

А Егор Бураков — уже мертвому, по «пути» — разбил Годовицыну голову прикладом. Разбил и похвалился:

— Вот тебе, бес бритолобий!

И больше ни слова. Молчок. Ни гу-гу...

14

Зимой 1916 года наша «компания» завела себе лошадь.

Это был гнедо-карий меринок, на тонких высоких ногах, с широкой грудью и с длинной волнистой гривой.

Нашли мы его брошенным какими-то солдатами в одной польской деревушке. Была зима. Дул буран. Мы отступали. По пути остановились в этой деревушке и первым делом рассыпались по халупам в поисках чего-нибудь съестного.

Войдя в один двор, мы увидели привязанную к забору лошадь, которую чуть не по брюхо занесло снегом.

Заинтересовались, окликнули. Лошадь оглянулась, мотнула головой и тихо заржала.

— Что, коняша, замерзла?

Мы пожалели лошадь, отвязали ее от забора, пустили во двор и пошли по своим делам. Но не успели мы отойти до переулка, как вслед нам по-

слышалось звонкое ржание. Оглянулись. По улице, путаясь в поводу, за нами шла лошадь.

— О! Вот, чорт, как ученая!

Лошадь подошла к Буракову и почесала об его плечо свою морду. Нас тронуло это. Мы окружили ее, начали гладить. Егор потрепал ее по шее и стал выбивать из густой гривы снег, приговаривая:

— Что, задул тебя буран-то, а? Ах, буран, буран, что он наделал, а? А ты стой, как тебя, дай почищу маненько...

Лошадь стояла около Егора, мотая головой и прядая ушами, и так смотрела на него, словно сказать чего хотела.

Кто-то из нас внес предложение: взять лошадь с собой. Предложение понравилось. Тогда Шарегин взял в руки повод и пригласил коня:

— Айда, скотина! Воевать вместе будем.

— Ну, скотина! — обиделся Бураков. — Чай, у нее имя какое-нибудь есть.

— Имя? У-у, дурила с Волги! Ты что, на крестинах, что ли, был у нее?

— Сам дурила! — огрызнулся Егор. — А что? А какая лошадь без имя бывает? Никакая. А нет — дать надо.

— Верно, Егор! Как назовем?

— «Карько»!

— Ну, «Карько»! Что, в деревне, что ли? Она, брат, видно сразу, не из простых: из кавалерии наверно!

— Да-а. А как, ребята?

Шарегин все подтрунивал над Бураковым:

— Давайте крестить мерина, а? Егор за кума будет!

— Брось, Андрей, — остановил его Громанюк. —

Крестить — не крестить, а назовем его «Бураном». В буране мы его, в пурге нашли, пусть и будет — «Буран».

Так и называли свою находку «Бураном».

Хорошее имя. Но, по правде сказать, ничего похожего на буран в нашем мерине не было. Это была не лошадь, а, как говорят, «шкилетина» дохлая. Облезлая кожа, крупные мосла и маклаки, почти обнаженные ребра и умная, с большими серыми глазами морда — таков был наш «Буран».

Но дареному коню, говорят, в зубы не глядят, и мы, главным образом Бураков, оказавшийся страстным любителем лошадей, с чисто материнской нежностью стали ухаживать за «Бураном»: ежедневно чистили его, смазывали потертые места дегтем, таскали из обоза остатки солдатских обедов, кормили и поили своего «приемыша» доотвала.

Лошадь стала поправляться. Не прошло и месяца, как у «Бурана» зажили раны, словно бархатная шубка залоснилась шерсть. «Буран» повеселел и в благодарность за наш уход привязался к нам, как ребенок.

Он узнавал Буракова по голосу, и стоило ему бывало крикнуть: «Буран»!, как тот бежал к нему с ласковым ржаньем и, скаля зубы, терся об его плечо, ожидая кусочка хлеба или сахара.

Заодно «Буран» привязался и к нам, и наши ребята от души полюбили коня. А потом мы и представить себе не могли: как это до сих пор наша «компания» могла жить без «Бурана»?

Мы ездили, когда стояли в резерве или на отдыхе, на своем «Буране» в гости; возили на нем свои пулеметы, делали переходы, и не мало было слу-

чаев, когда мы спасались от смерти только благодаря «Бурану».

И вот этого друга, этого спутника наших бед и страданий, этого верного товарища окопной жизни нам пришлось пристрелить.

15

Когда началось общее отступление по всему фронту, наша «компания» пулеметчиков отступала на какой-то двуколке.

Шарагин правил. Двое ребят сидели на козлах, двое — на задке, остальные по бокам и на дне двуколки, придерживая руками дрыгающие пулеметы.

В двуколку был запряжен наш любимец «Буран», и мы, которые в другое время ни за что бы не позволили себе пальцем тронуть своего «Бурана», теперь «жарим» его в четыре кнута и орем:

— Э-гей! «Буранушка»! Не выдавай, «Буран»! Голубчик наш, не выдавай!

«Буран», будто понимая нашу беду, распластался в одну линию, заложил назад уши и, скаля зубы и обливаясь потом, скакал во весь опор.

Мы гоним, бьем, орем на «Бурана», а у самих одна мысль:

— Задохнется! Загоним коня...

Но «Буран» не сдает, скачет, храпит только да сбрасывает на землю кровавую пену из носа.

Так скачем день, ночь, сутки... На вторые, спустившись галопом в овраг, «Буран» каким-то чудом на полном скаку вывез двуколку на гору и со всех ног грохнулся на землю.

— Стой!

Выпрыгнули из двуколки, оправились.

— «Буран», «Буранушка»!

«Буран» умирал. Вздвигаются и опадают у «Бурана» бока. Из рта течет алая струйка крови, вся морда мерина покрыта розовой, точно облачко на заре, пеной. «Буран» храпит, сучит ногами, тычется окровавленной мордой в пыль, бьется в последних судорогах...

— Выпрягай!

Моментально обрезали постромки, сняли хомут, хотим поднять «Бурана» на ноги. Но «Буран» только храпит, бьется да смотрит на нас своими умными серыми глазами.

Мимо нас скачет артиллерия, рысит конница, проносятся фуры, двуколки, повозки, ползут раненные... Солдаты что-то кричат нам, машут руками...

— «Буран»! Вставай! Но-о! Да что ты, милый...

«Буран» не вставал. Оставаться около него не было никакого смысла, и мы, поймав какую-то бежавшую порожнюю лошадь, прыгнули в повозку и поехали дальше.

— Прощай, «Буранушка»! Золотенький наш, прощай!

А «Буран», словно чувствуя, что его бросают, что он остается один, собрал свои последние силы, приподнялся с земли, сел как-то по-собачьи, на зад, оскалил зубы и заржал. Заржал дико, пронзительно и снова грохнулся на землю, дрыгая ногами и тыча мордой в пыль.

Поздно ночью остановились на отдых. Расположились в каких-то кустах. Сидим около костра. Идет дождь. Молчим. Говорить не хочется. Да и

не о чем было говорить. Мы прошли сегодня семьдесят шесть верст, устали, проголодались, промокли и теперь даже не можем высушить свою одежду и как следует поспать.

Сидим, накрывшись шинелями, слушаем, как шипят на костре сучья, как по нашим головам барабанят крупные капли дождя.

Ночь. Ветер. Холодно. Клонит ко сну...

Вдруг в кустах послышался шорох. Кто-то шел к нам, грузно шлепая по лужам и ломая кустарник.

Вздрыгнули. Вскочили на ноги. Шарагин рванул из-за ремня гранату:

— Стой! Кто идет?

Храп. Из кустов, в освещенном костром пространстве показалась мокрая лошадиная голова.

— «Буран»!

— Да милый наш «Буранушка» пришел...

Да, это был «Буран». Он мотнул головой, тонко, словно маленький жеребеночек, заржал, шагнул шага два-три вперед, покачнулся и грузно грохнулся на землю.

Мы схватили из костра горящие головешки и побежали к лошади. Осветили. Живот Бурана был разорван осколком снаряда. Из раны—она была еще свежая—сочилась кровь, вываливались кишки... Белые и синие, они, видимо, волочились за ним по земле, когда он шел к нам.

Нам стало жутко от этого зрелища, и мы поспешили отвернуться. А Бураков, которого так любил «Буран», не выдержал, упал рядом с «Бураном» на землю, обнял лошадиную морду руками, прильнул к ней лицом и завыл:

— «Буранушка»! Хороший мой...

«Буран» повернул к Егору свою морду, брык-

нулся ногами, хотел, очевидно, встать, но только заржал и опять упал на бок, и из его глаз, сморщивших на нас с таким, прямо человеческим страданием, закапали слезы и медленно-медленно покатались по мокрой морде на землю.

Лошадь плакала. А мы стояли около нее и не знали, что делать.

— Ребята! — кричал Бураков. — Да что это такое? Да пристрелите хоть его, ребята! Пристрелите!

Андрюшка Шарагин схватил винтовку; она заплясала в его руках, словно живая.

— Андрюша, скорее, скорее...

Шарагин взвел курок, подошел к «Бурану» прицелился и...

— Нет! Не могу-у-у!

А «Буран» продолжал мучиться.

Тогда Латыш взял у него винтовку, проверил затвор, приставил дуло к уху Бурана и нажал курок.

Грянул выстрел. «Буран» экнул, захрапел, повалился на землю. По его мокрому телу пробежала мелкая дрожь. Латыш высморкался, снял фуражку.

Мы молчали. Шумел дождь. Где-то гремел гром. Шипели, извиваясь на костре, сучья. Около наших ног лежало мертвое тело нашего друга и товарища по несчастью — «Бурана».